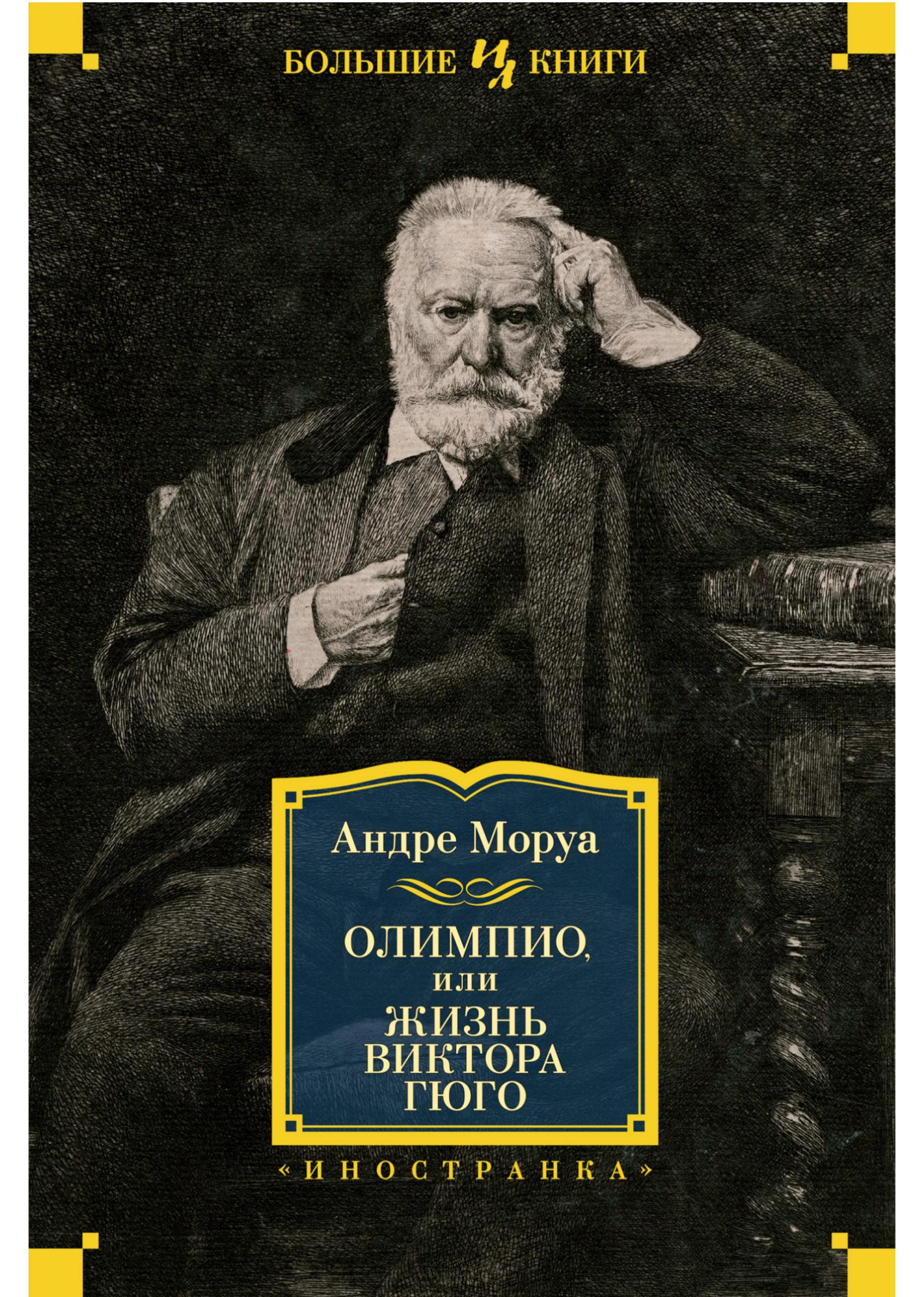


БОЛЬШИЕ И КНИГИ



Андре Моруа

ОЛИМПИО,  
или  
ЖИЗНЬ  
ВИКТОРА  
ГЮГО

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Андре Моруа

**Олимпио, или  
Жизнь Виктора Гюго**

«Азбука-Аттикус»

1954

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

## **Моруа А.**

Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго / А. Моруа — «Азбука-Аттикус», 1954 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-20251-1

Андре Моруа, классик французской литературы XX века, подлинный мастер психологической прозы, прославился еще и как автор романизированных биографий Дюма, Бальзака, Жорж Санд и др. Одна из лучших его книг в этом жанре – «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» – посвящена великому французу, оставившему неповторимый след в истории не только французской, но и европейской культуры. Прославленный поэт, драматург, прозаик, Виктор Гюго отважно ринулся в политику, стал пэром Франции, защитником отверженных и гонимых. За идеалы свободы и демократии он сражался на баррикадах, а затем почти двадцать лет провел в изгнании. Соотечественники считали Гюго совестью нации, недаром Ромен Роллан назвал его «Львом Толстым французской литературы». Андре Моруа с неподражаемым мастерством создает удивительно яркий портрет этого многоликого человека.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-20251-1

© Моруа А., 1954  
© Азбука-Аттикус, 1954

## Содержание

Предисловие автора	6
Часть первая	8
I	8
II	18
III	28
Часть вторая	35
I	35
II	44
III	50
IV	54
V	63
Часть третья	70
I	70
II	75
III	82
IV	88
Конец ознакомительного фрагмента.	95

**Андре Моруа**  
**Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго:**  
**романизированная биография**

André Maurois

OLYMPIO OU LA VIE DE VICTOR HUGO

Copyright © 2006, The Estate of André Maurois, Anne-Mary Charrier, Marseille, France

© Н. И. Немчинова (наследник), перевод, 2021

© М. С. Трескунов (наследник), перевод, 2021

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

## Предисловие автора

*Почему Гюго? Мне нечего искать заступников. К Жорж Санд меня привели Марсель Пруст и Ален, но я не помню такого времени, когда бы меня не восхищал Виктор Гюго. Я еще не знал грамоты, но уже с волнением слушал, как мать читала нам «Бедных людей», в пятнадцать лет я был потрясен, прочитав «Отверженных»; всю жизнь я открывал новые стороны его гения. Как и многие читатели, я лишь постепенно постиг красоту его больших философских поэм. И наконец я прочел и полюбил последние стихи старого Орфея и нашел в сборниках «Все струны лиры», «Мрачные годы» и «Последний сноп» прежде неведомые мне шедевры.*

*Почему Гюго? Да потому, что он самый большой французский поэт и необходимо узнать его жизнь, чтобы понять противоречивую натуру этого гениального художника. Как этот осторожный, бережливый человек был вместе с тем щедрым; как этот целомудренный юноша, этот примерный отец семейства стал на склоне лет старым фавном; как этот легитимист превратился в бонапартиста, а затем в патриарха Республики; как этот пацифист лучшие всех воспел знамена Ваграма; как этот буржуа предстал в глазах буржуа мятежником – все это должен объяснить каждый биограф Виктора Гюго. За последние годы прояснился ряд обстоятельств его жизни, было опубликовано много писем и записных книжек; я задумал обобщить разрозненные документы и попытаться добиться, чтобы из них возник облик человека.*

*В моей книге содержится множество неизданных текстов (письма Гюго к госпоже Биар, к его снохе Алисе, к его внукам, к графу Сальванди, к полковнику Шарра, письма Адели Гюго к Теофилю Готье и письма к ней Огюста Вакери, выдержки из записных книжек Сент-Бёва, письма Эмиля Дешана к Виктору Гюго, Леопольдины Гюго к отцу, Джеймса Прадье к Жюльетте Друэ – и так далее), но привлечение новых материалов не было главной моей целью. Я отказался ввести в свою книгу многие письма, сами по себе интересные, но не прибавляющие ничего существенного. Надо остерегаться, как бы не похоронить своего героя под грудой свидетельств. Я не хотел также отяжелять рассказ исследованиями поэтики Гюго, его религиозных убеждений, истоков его творчества – все это уже сделано другими, и сделано хорошо. Словом, я описывал жизнь Виктора Гюго, не большие и не меньшие, стараясь не забывать того, что в жизни поэта творчество занимает столько же места, как и внешние события.*

*Я многим обязан исследованиям и комментариям тех людей, которые сейчас лучшие всех знают Виктора Гюго: Раймону Эшолье, Анри Гиймену, Дени Сора. Когда я собирал материалы в Доме Виктора Гюго, хранитель музея Жан Сержан и его помощница Мадлен Дюбуа руководили моими поисками в их великолепных коллекциях; в каталогах их выставок я почерпнул новые и очень полезные сведения. Мои друзья в Национальной библиотеке – Жюльен Кэн, Жан Порше, Жак Сюффель, Марсель Тома, Жан Прине – предоставили в мое распоряжение рукописи, записные книжки и бумаги Виктора Гюго. Жан Помье любезно разрешил мне опубликовать отрывки из посмертной статьи Сент-Бёва, находящейся в собрании Шпельбера де Лованжуля, а Марсель Бутерон разрешил мне воспользоваться материалами из пятого (еще не изданного) тома писем Бальзака к Чужестранке.*

*Щедры снабдили меня документацией госпожа Андре Гаво (урожденная Лефевр-Вакери), госпожа Люсьенна Делгфурж и господи Жорж Блезе, Альфред Дюпон, Жан Монтаржи, Филипп Эриа, Франсис Амбриер, Габриель Фор. Пьер де Лакретель, чья мать была подругой Алисы Гюго-Локруа, охотно рассказал мне то, что он знал о среде, в которой Виктор Гюго провел последние годы своей жизни. Наконец, моя жена, с обычной своей добросовестностью, собрала для меня драгоценную переписку. Без нее мне бы не справиться с задуманной мною*

*работой, самой обширной и самой трудной из всех, какие я предпринимал до сих пор. Что касается меня, то я приложил все усилия к тому, чтобы, не погрешив ни против благоговейного своего отношения к великому поэту, ни против правды, последовательно рассказать все то, что при нынешнем состоянии исследований известно о его жизни.*

*А. М.*

## Часть первая Волшебные фонтаны

*О память! Слабый свет среди теней!  
Заоблачная даль тех давних дум!  
Прошедшего чуть различимый шум!  
Сокровище за горизонтом дней!*

**Виктор Гюго<sup>1</sup>**

### I

## По крови он сын Лотарингии и Бретани...

Около 1770 года в Нанси жил мастер ремесленного столярного цеха Жозеф Гюго, пользовавшийся привилегией покупать для своих поделок лес, сплавляемый по Мозелю, имевший, кроме мастерской, несколько небольших домов в городе. Он был человек суровый, с крутым характером. Отец его пахал землю в Бодрикуре, «по соседству с лотарингскими лугами, где родились Жанна д'Арк и Клод Желле». В молодости он служил в легкой кавалерии в чине корнета, то есть аджюдана. Променяв плуг на саблю, он затем расстался с саблей ради рубанка. Фамилия Гюго немецкого происхождения, довольно часто встречающаяся в Лотарингии. В XVI веке некий Жорж Гюго состоял капитаном гвардии и получил дворянское звание; некий Луи Гюго был аббатом в Эстивале, а затем епископом Птолемаидским. Состоял ли столяр Гюго в родстве с епископом? Никто этого не знал, но дети столяра охотно уверовали в это и рассказывали, что Франсуаза Гюго, графиня де Графиньи, в письмах к их отцу называла его «брат мой». Жозеф Гюго имел от первой жены, урожденной Дьедонне Беше, семь дочерей, а от второй – Жанны Маргариты Мишо – пять сыновей, и все пошли добровольцами в армию Революции. Двое из них погибли под Висамбуром, а трое уцелевших стали офицерами. После падения монархии военная карьера стала новой формой перехода из одного класса в другой, а членов семейства Гюго, казалось, инстинктивно тянуло к военному поприщу.

Третий сын – Жозеф Леопольд Сигисбер Гюго – родился в Нанси 15 ноября 1773 года. Густая пышная шевелюра и низкий лоб, глаза навывкате, толстые чувственные губы и слишком яркий румянец – все это придавало бы вульгарность его внешности, но выражение доброты, глаза, блестящие умом, и очень ласковая улыбка делали его обаятельным. Образование он получил у каноников нансийского капитула, но рано прервал ученье, так как в возрасте пятнадцати лет пошел волонтером в армию. Он знал латынь, математику, довольно хорошо писал в стиле своего века, и не только военные рапорты, но и мадригалы, песенки, письма в духе Руссо, а позднее – причудливые романы, полные всяких ужасов и катастроф. Человек веселый, приятный собеседник, он был, однако, подвержен приступам мрачного настроения и тогда воображал, что его преследуют враги. В 1792 году, будучи капитаном Рейнской армии, он познакомился с Клебером – в ту пору командиром батальона, с лейтенантом Дезексом и генералом Александром Богарнэ, первым мужем будущей императрицы Жозефины. Солдаты любили капитана Гюго, находили, что он славный малый, хоть и вспыльчивый, но отходчивый и, в сущности, при всей своей телесной мощи, человек мягкий, правда блиставший отвагой в сражениях.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее, кроме случаев, специально оговоренных, стихи даются в переводе Н. Горской.

Он действительно отличался храбростью, несколько раз был ранен, под ним в боях были убиты две лошади. В 1793 году его послали на подавление Вандейского восстания и назначили старшим адъютантом его лучшего друга Мюскара, командовавшего батальоном. Гюго было тогда двадцать лет, а Мюскару тридцать четыре. Мюскар был офицер кадровый, выслужился из солдат, по национальности баск. В 1791 году, прослужив в королевской армии семнадцать лет, он имел только чин старшего сержанта. Революция и война дали ему наконец возможность выдвинуться. У него имелись данные, необходимые в смутные времена для того, чтобы стать военным трибуном: высокий рост, зычный голос, красноречие, прямота и, разумеется, отвага. За шесть месяцев кампании он получил три повышения в чине. В 1793 году 8-й батальон Нижнерейнской армии избрал его своим командиром.

Мюскар и Гюго были созданы для взаимного понимания. Оба крепко верили в принципы 1789 года, были жизнерадостны, свободомыслящи, отличались пылкостью и честностью. Как это бывает во всех гражданских войнах, война, которую Конвент предписал им вести в Вандее, была жестокой. Какие приказы они получили? Сжигать одиноко стоящие дома и, главное, замки, уничтожать все сельские пекарни и мельницы, превратить мятежный край в пустыню. Упорный, неуловимый враг, скрывавшийся то в перелесках, то за живыми изгородами, то в канавах, то в оврагах, непрестанно тревожил республиканцев, и они нервничали. И синие, и белые расстреливали пленных. Леопольд Гюго, который был всем обязан Революции, разделял ее страсти; он даже подписывался *санкюлот Брут Гюго*, но сердце его оставалось человеческим, и «разбойники Шаретта» скоро узнали, что этот синий не лишен чувства жалости. Быть может, благодаря своей репутации человека великодушного республиканский офицер Леопольд Гюго и встретил довольно благожелательный прием у бретонки Софи Требюше, на старинной ферме, почти что замке, Ренодье в кантоне Пти-Оверне, когда он попросил там приютить на час его измученных солдат.

Юная и стройная миниатюрная девушка-бретонка с большими карими глазами, энергичным и даже надменным личиком, с прямой линией носа, как у античных греческих статуи, «могла похвастаться крепким здоровьем, великолепным цветом лица, радовала взгляд своим решительным и задорным видом. В легкой ее поступи, в гармоничных движениях было что-то изящное и вместе с тем сельское...». Отец ее, имевший еще двух дочерей, был капитаном корабля, приписанного к Нанту, торговал неграми, ее дед по матери, господин Ленорман дю Бюиссон, занимал пост прокурора в гражданском и уголовном суде Нантского судебного округа. Семейство Требюше и Ленорманы при монархии были, «как все», монархистами. Буря Революции их разделила. У Софи Требюше одни родственники стали белыми, а другие – синими; ее дед – Ленорман дю Бюиссон, – судейский чиновник по своему положению и сутяга по призванию, согласился стать членом Революционного трибунала в Нанте, что не вызывало уважения у его внуки, возмущавшейся крайностями террора.

Софи Требюше, осиротевшую в детстве, воспитала ее тетка, госпожа Робен, вдова нотариуса, – особа решительная, роялистка и вольтерьянка, привившая свои взгляды и девочке. Госпоже Робен было шестьдесят лет, когда ей в 1784 году доверили воспитание племянницы. В 1789 году она благожелательно смотрела на созыв Генеральных штатов, но в 1793 году, напуганная жестокостями, имевшими место в Нанте, и казнями уважаемых ею людей, она решила укрыться вместе с племянницей в маленьком городке Шатобриане, где у них были родственники. Близ него, в самой середине края, охваченного восстанием, находилось поместье Ренодье, уже два столетия принадлежавшее семейству Требюше.

Как все девушки, выросшие без матери, Софи Требюше обладала характером решительным и независимым, вдобавок она не верила в Бога, была добра и великодушна; она смело скакала верхом на лошади в окрестностях Шатобриана по дорогам с высокими откосами; защитой ей служило свидетельство о благонадежности, выданное девице Требюше, несомненно благодаря старику Ленорману, якобинцем Карье, ужасным проконсулом Нанта, и она пользовалась

этим талисманом для того, чтобы спасти священников, не присягнувших новому уложению о духовенстве, или устраивать побеги шуанам.

Ведь она тоже стала «горячей вандейкой, питавшей ужас перед деспотизмом Конвента». По правде сказать, обеим этим женщинам, укrywшимся в Шатобриане, оставалось только выбирать между двумя видами террора – террором якобинских солдат и террором «разбойников», то есть шуанов. Красный террор или белый террор. Поэтому Софи предпочитала маленькому городу, раздираемому ненавистью, свой простой дом на ферме Ренодьере. Ей нравилось ходить в сабо, работать в саду. В Пти-Оверне «мужики» еще называли ее «наша барышня», как в старые времена. Эта независимая амазонка, немало гордившаяся своими родственными связями с окрестным мелким дворянством, стоическая душа, всегда занятая цветами, погруженная в грезы, видевшая себя в смутных мечтах невестой некоего героя, с каждым днем все больше привязывалась к таинственному краю, где она поселилась.

Маленькая армия синих, голодная, измученная, доведенная до отчаяния ненавистью, которая ее окружала, в отместку грабила и убивала мятежников. Бравый Мюскар – прекрасный человек, отнюдь не отличавшийся кровожадностью, говорил со вздохом: «Прискорбно командовать войсками, когда они позорят своих начальников». Тем не менее он проклинал «всех фурий, вероломных негодяев, мегер», которые поддерживали отношения с шуанами и помогали им устраивать засады на патриотов. Софи Требюше принадлежала к этой категории вандейцев и разделяла их злобные чувства, тем более что в Ренодьере синие однажды дали волю «кровавому разгулу и разврату».

И все же, когда в один прекрасный летний день 1796 года она, возвращаясь с верховой прогулки в Шатобриан, встретила на дороге веселого капитана Гюго, который «прочесывал» перелески в поисках «разбойников-шуанов», у нее нашлось достаточно причин быть с ним любезной. Во-первых, молодой офицер не нес ответственности за происходившую резню. Она слышала, что он имеет влияние на Мюскара, и притом влияние благотворное. А главное, подошедший крестьянин только что сообщил «своей барышне»: «Синие нагрянули. А тут совсем близко наши священники. Займите остолопов». Она принялась (и очень успешно) кокетничать, тотчас согласилась принять капитана Гюго с его солдатами и увела отряд в Ренодьере.

Подали фрукты и прохладительные напитки. Начался разговор. Молодой капитан произвел впечатление. Он имел некоторое образование, мог цитировать Тита Ливия и Тацита, декламировать стихи Вольтера, элегии Парни, сам сочинял мадригалы и акrostихи «в таком стиле, какой приятен красоткам». Кроме того, он отличался грубоватой, но заразной жизнерадостностью, всегда готов был и петь и сражаться. Мюскар сочинил в его адрес следующую шутиливую эпитафию:

Здесь спит краса и гордость батальона;  
От смеха умер он и умирал, смеясь,  
За мрачным Стиксом рассмешил Плутона,  
И мертвые теперь признали смеха власть.

Завязать добрые отношения с могущественным в краю офицером было на руку барышне Требюше, и она еще раз встретила с ним. Она с любопытством наблюдала за этим двадцатитрехлетним капитаном с чувственным ртом и ласковыми глазами. А его самого, хоть он и возил за собою в походах, по примеру своих начальников, доступную девицу, «пышногрудую, но скудоумную» Луизу Буэн, именовавшую себя «женою Гюго», хоть он и хвастался, довольно грубо, своими любовными победами, – его привлекала молодая бретонка, обладавшая мужским умом и мужской храбростью. С ее стороны было искусным политическим ходом пригласить Гюго и Мюскара к тетушке Робен. Двери большинства домов в Шатобриане были закрыты перед офицерами Республики. Тем более их тронуло радушное приглашение. Мадемуазель Требюше

блистала умом и такой свежестью, что казалась прелестной. Вскоре оба офицера называли ее запросто – «Софи», а госпожу Робен – «тетушка». Со своей стороны Софи, испанская душа, заинтересовалась молодым капитаном. Он спасал женщин, заложников, детей. Ей приятно было совершать с ним верховые прогулки по дорогам Бокажа, идущим меж высоких откосов, и в беседах храбро доказывать ему, что война против шуанов несправедлива. Гюго горячо защищал Республику, но восхищался твердым характером очаровательной девушки и гордился тем, что не посягает на ее честь, а она гордилась, что так смело говорит с противником.

Недолго длилась эта странная идиллия. Мюскар поссорился со своим генералом и из 8-го батальона Нижнерейнской армии был отозван Директорией в Париж. Санкюлот Брут Гюго грустил, расставаясь с юной бретонкой. Тетушка Робен тоже жалела об этой разлуке. Она была в достаточной мере философом, чтобы принять новые времена, и не стала бы противиться браку своей племянницы с офицером республиканской армии. Но Софи, мнение которой она постаралась выпытать, заявила, что «брак нисколько ее не привлекает». Она уехала в Ренодьеру возделывать свой сад. Однако Гюго и в Париже не забывал «маленькую Софи из Шатобриана» и продолжал писать ей письма, хотя и держал при себе для временного сожительства пышногрудую девицу Луизу Буэн. Гюго писал Мюскару: «Я часто прижимаю ее к сердцу и чувствую сквозь два прелестных полушария, как нарастает волнение, воодушевляющее мир!.. Задернем занавес...»

Удивительное дело – этим веселым и распутным офицером при всяких неприятностях овладевала какая-то странная мания преследования. Когда Мюскар, командир батальона, получил другое назначение, Гюго надоел штабу жалобами на нового своего начальника, называл его «негодяем, которого следует не только заковать в кандалы, но и предать смерти», «грязной душой», «крокодилом, извергнутым водами Рейна». От недовольного постарались избавиться, назначив его докладчиком военного совета – должность, дававшая ему право получить квартиру на Гревской площади в здании ратуши. В этой официальной резиденции он не имел права поселять свою наложницу. Луиза Буэн немедленно исчезла, проявив и скромность, и внезапно возникшее равнодушие, что было обычным в те времена, и капитан мог на досуге мечтать о Софи Требюше. Она отвечала на его письма с «крайней сдержанностью» и «целомудрием чувств», совсем не похожими на «забавное краснобайство и шуточный тон», характерные для посланий капитана. Но может быть, сама эта сдержанность и пленяла его. Во всяком случае, он сделал Софи Требюше предложение.

Она была круглой сиротой, была на полтора года старше жениха, нуждалась в поддержке. Однако ее, по-видимому, совсем не соблазнял этот брак, – понадобились настояния всех ее друзей в Нанте, чтобы она дала согласие. Она приехала в Париж в сопровождении своего брата; Гюго «ошеломил ее своими любовными восторгами», и 15 ноября 1797 года их соединили гражданским браком в мэрии IX округа, на улице Фиделите. Из брачного контракта явствует, что у капитана Гюго, кроме жалованья, было некоторое недвижимое имущество и доходы, невеста же выходила замуж без приданого – поместье Ренодьера ей лично не принадлежало. Однако великодушный солдат согласился заключить контракт на основе общности имущества, и, хотя жизнь в годы Директории была очень дорога, он никогда на это не жаловался. «Деньги, – говорил он, – это нерв войны, но только войны. А того, что я имею, – для мирной жизни достаточно, я в долги не влезаю и забот не знаю».

Супруги прожили в Париже два года; Гюго был страстно влюблен в свою умную бретончку, а ей немного надоедали шумные разглагольствования мужа и его вольные шуточки, ей досаждал чрезмерный любовный пыл этого могучего мужчины с бычьей шеей. Но она все терпела, будучи женщиной скрытной, упорной и властной. У нее остались очень плохие воспоминания «о печальном времени, прожитом в древней ратуше, где в дни Революции пострадали и картины, украшавшие стены, и сами стены». У молодых супругов не было ни белья, ни посуды. Софи тосковала о Ренодьере, о своем саде, о морском воздухе родной Бретани.

Лучшим их другом стал секретарь трибунала Пьер Фуше, сын нантского сапожника, старый знакомый семейства Требюше, ровесник капитана Гюго, весьма, однако, отличавшийся от него темпераментом, человек осторожный, целомудренный, заядлый домосед. Воспитание, которое Фуше получил у своего дяди-каноника, более пригодно было для ораторианца, чем для солдата. Разделяло друзей только одно – политика. Докладчик дел был республиканец, а секретарь трибунала – роялист, но оба в спорах не питали ненависти друг к другу.

Через несколько дней после женитьбы Гюго секретарь трибунала сочетался браком с Анной Виктуар Асселин и попросил капитана Гюго быть свидетелем в мэрии. На свадебном обеде Леопольд Гюго наполнил свой бокал и воскликнул: «Пусть у вас родится девочка, а у меня мальчик, и мы их поженим. Пью за здоровье будущей семьи».

В Париже времен Директории, когда и в модах и в шутках царила нескромность, супруги Гюго посещали места всяких увеселений. Софи носила воздушные одеяния, которые, как говорил ее муж с отвлеченной непристойностью языка того времени, «дозволяли пытливому взору любоваться самыми сокровенными прелестями красавиц». В «Италийских садах», на углу улицы Шайо и Елисейских Полей, где показывали весьма смелые живые картины, как, например, «Соединение Марса и Венеры за прозрачной завесой облаков», они встретили полковника Лагори, друга детства Софи Требюше. Виктор Фанно Лагори был уроженцем Майенны. Присоединившись к Революции, он сохранил аристократические манеры, приобретенные в коллеже Людовика Великого, где тогда преподавали монахи-иезуиты. Он носил прекрасно сшитый синий фрак, синие короткие панталоны без выпушки, «черную треуголку с крошечной кокардой» и белые перчатки. Короче говоря, в одежде его было строгое, классическое изящество. Встреча с ним доставила Софи Гюго явное удовольствие; несомненно, благородная сдержанность Лагори особенно выигрывала по контрасту с шумной развязностью майора Гюго. Во времена распушенности нравов молодой полковник со сверкающими, как алмаз, глазами жил без любовницы. Этот стойкий и мечтатель охотно читал по-латыни поэтов Древнего Рима, любил и французскую поэзию. «У него был незаурядный, богато оснащенный ум, и он умел его показать». Душа требовательная, гордая и достойная любви. Полковник Лагори привязался к семейству Гюго, и они в свою очередь платили ему дружбой: муж радовался, что нашел в его лице покровителя, близкого друга генерала Моро, которого Директория послала с важной миссией в Итальянскую армию; жена была довольна, что у нее появился наперсник, умеющий хранить доверенные ему тайны, такой же скрытный, как и она сама.

В 1798 году у супругов Гюго родился сын Абель, а в следующем году майор отправился в армию, так как 20-я полубригада, в которую он получил назначение, должна была войти в Рейнскую армию, горделиво именовавшуюся Дунайской. Он перевез жену в Нанси. Адрес ее был тогда такой: *«Нанси, в старом городе, улица Маршалов, гражданке Гюго, проживающей у своей свекрови»*. Унылая улица, угрюмый дом. Желтоватый мрачный фасад, темный внутренний двор. Бретонка, привыкшая к вольному воздуху, задыхалась там. Ей не пришлось по душе свекровь и, главное, золовка, Маргарита, которую называли уменьшительным именем Готон, в замужестве Мартен-Шопин. Эта особа решила командовать невесткой. Софи хотела сама кормить грудью ребенка, купать его, прогуливать, но в семействе Гюго предпочитали кормить младенца из рожка, а вместо купания – обтирать его уголком мокрого полотенца. Как и многих героев, Леопольда Гюго угнетали ссоры, происходившие между его матерью и женой, он старался каждую признать правой и обеим угодить.

Красавца-полковника Лагори, встреченного в «Италийских садах», перевели в Нанси. Он не забыл Софи, женщину серьезную, любезную его сердцу, и у него вошло в привычку заходить побеседовать с ней. Тем, занимательных для них обоих, было достаточно: строгие суждения о терроре, надежды на мир и подлинную свободу, восхваления генерала Моро, к которому Лагори был очень привязан, меланхолические воспоминания детства, тоска о Бретани и Нормандии. Встречи благоприятствовали зарождению тайной любви, вначале бессознательной и

невинной. В декабре 1799 года Моро был назначен командующим Рейнской армией. Лагори стал начальником штаба, и, по установившейся с незапамятных времен традиции всех армий, майор Гюго, жена которого нравилась молодому генералу, получил все, что хотел, и сам был прикомандирован к Моро.

Жену он сначала оставил в Нанси. Ее больше, чем когда-либо, пугала жадная, чувственная страсть мужа, ибо Софи снова ждала ребенка, а втайне была влюблена в Лагори. Она умоляла мужа дать ей отдых от супружества, и в письмах, которые майор Гюго, сам сочинявший послания в духе Сен-Пре, считал ледяными, она просила, чтобы ей дозволено было рожать в Бретани.

### *Майор Гюго – госпоже Гюго*

Я не удивляюсь, что тебе радостно уехать из Нанси и вновь увидеть дорогих своих родственников, но радость свою ты выражаешь так восторженно, что у меня сжимается сердце...

Софи хотелось увезти с собою в Ренодьеру маленького Абея. «Мне было бы очень неприятно, – писала она, – оставить его в краю, с которым я прощаюсь навсегда... Возвратившись на родину, я оттуда никуда больше не двинусь: ты всегда будешь волен увидеться там со мною и с детьми, когда пожелаешь приехать и пожить с нами...»

Эта враждебная позиция приводила молодого супруга в отчаяние: «Софи, ужели это ты начертала такие обидные слова?..» Он заговорил даже о самоубийстве; конечно, то была литература: «Я уже собрался... но остановился... не из страха...» Он не позволил жене уехать и написал ей из Аугсбурга, что скоро приедет в Нанси навестить ее: «Я уже представляю себе, как я держу на одном колене тебя, а на другом – Абея и как мне сладостно будет целовать тебя, когда ты уже носишь под сердцем новую надежду нашу...» Эти картины семейного и весьма плотского счастья нисколько не пленяли Софи. Напрасно майор живописал то счастливое мгновение, когда он окажется возле нее и сожмет ее в своих объятиях. Как раз этого она и боялась. Однако после рождения ребенка (16 сентября 1800 года она в Нанси произвела на свет второго сына – Эжена) она вынуждена была переехать к мужу в Люневиль, куда он был назначен губернатором. В Люневиле она вновь встретила Лагори, который был в большой милости при дворе и получил от Жозефа Бонапарта поручение вести переговоры о мире. Лагори показал себя при этом тонким дипломатом. Своим изяществом и отточенной речью он резко выделялся среди окружавших его вульгарных людей. «У него манеры роялиста», – говорил Сегюр. Что касается губернатора Гюго, он заказывал себе красивые мундиры и весьма гордился успехом своей жены, умную головку которой хвалил сам Жозеф Бонапарт. Своему старому товарищу Мюскарю, назначенному губернатором Остенде, Гюго написал восторженное письмо о «своей прелестной Софи» и «достойном всяческого уважения Лагори». Классическая ситуация.

В штабе Рейнской армии Гюго стал одним из приближенных генерала Моро. Злополучная близость, ибо в 1800 году Моро разыгрывал роль соперника Бонапарта, и все преданные ему люди возбуждали подозрение у нового властителя. Несмотря на горячие рекомендации Жозефа Бонапарта, Гюго не получил в Люневиле повышения в чине. Друзья, заботившиеся о его будущем, добились, чтобы его назначили командиром батальона 20-й полубригады. «Это назначение, – сказал он, – является для меня источником новых горестей и отвращения...» Ведь командиром 20-й полубригады состоял офицер, с которым Гюго был в ссоре.

В 1801 году, во время путешествия из Люневилля в Безансон, благодаря прогулке в горы был зачат третий ребенок супругов Гюго (как сказал ему однажды отец) – на горе Донон, самой высокой вершине Вогезов, среди облаков, что доказывает, насколько властным и внезапным оставался любовный пламень майора. Этот третий сын родился в Безансоне 26 февраля 1802

года в старинном доме XVII века. Родители пригласили в крестные отцы генерала Виктора Лагори, а в крестные матери – Мари Десирье, супругу Жака Делеле, бригадного генерала, коменданта крепости Безансон, – поэтому и ребенка назвали *Виктор Мари*. Фактически крещения как такового не было – восприемникам надо было только подписаться в качестве свидетелей в книге актов гражданского состояния. Лагори к тому времени уже возвратился в Париж, и представителем его был генерал Делеле.

Ребенок казался очень хилым, и акушер не надеялся, что он будет жив, спасли его только упорные заботы матери.

### *Гюго – Мюскару*

У меня трое детей, дорогой Мюскар, – три сына. Мое поприще должно быть и поприщем моих мальчиков. Пусть они идут по стопам отца, я буду доволен. Пусть сделают больше, чем мне удастся сделать, я благословлю день их рождения, как благословляю обожаемую мою супругу, подарившую их мне... Сюда приехал мой брат. Он красивый малый пяти футов шести дюймов роста, всю войну прослужил гренадером в армии Самбры и Мааса. Я добился, чтоб его произвели в младшие лейтенанты. Есть у меня еще один брат... Для меня весьма затруднительно пристроить его, а между тем он прекрасный малый. Получил неплохое образование и даже написал трагедию, не лишенную достоинств... Он решил записаться добровольцем в армию.

Славные люди эти братья Гюго – все солдаты и поэты. Но Леопольду пошла не на пользу его солдатская прямота. В 20-й полубригаде он, по своему обыкновению, вступил в неравную борьбу со своим непосредственным начальником, полковником Гюстаром. У Гюстара счетоводство находилось в весьма запутанном состоянии. Гюго, не стесняясь, порицал его и был за это обвинен в подстрекательстве господ офицеров к бунту. Плохо дело! В высоких сферах друг генерала Моро не мог рассчитывать на какую-нибудь поддержку. Полковник Гюстар пожаловался на сварливый и буйный характер «этого толстого майора, который носит в Рейнской армии синий фрак спартанцев».

### *Гюго – Мюскару*

Он осмелился сказать, что я не был в сражениях. Разбойник судил по самому себе...

Министерство охарактеризовало Леопольда Гюго как интригана. А первый консул терпеть не мог бунтовщиков. Через полтора месяца после рождения третьего своего сына «толстый майор» получил приказ выехать в Марсель и принять там командование батальоном, который предполагали направить в Сан-Доминго.

Убежденный, что его преследуют, что над ним нависла серьезная опасность, Леопольд Гюго совершил безумство – послал свою молодую жену в Париж, поручив ей умолить Жозефа Бонапарта, генерала Кларка и Лагори, чтобы они изменили назначение и тем самым вырвали его из рук врагов. Софи, хоть ей и грустно было расставаться с тремя своими малышами, согласилась поехать: она всегда любила трудные поручения. Но обращаться к Лагори было, конечно, шагом неосторожным, и последствия его легко было предвидеть.

Генерал Лагори носил теперь пышные бакенбарды и причесывал волосы а-ля Титус. Объясняя своему другу Софи Гюго положение дел, он нарисовал картину далеко не утешительную. Лагори долго служил посредником между своим покровителем, генералом Моро, человеком

нерешительным, и первым консулом, который не доверял бывшему командующему Рейнской армией, но еще щадил его. Бонапарт мог бы привлечь к себе Лагори, назначив его куда-нибудь послом. Он этого не сделал. Лагори повернул в другую сторону и сблизился с Моро, хотя и знал, что Моро – человек слабовольный. Первый консул отказался назначить Лагори командиром дивизии. Это означало – отставка в тридцать семь лет и несомненная опала. Лагори страдал, лицо у него пожелтело, блестящие глаза глубоко запали. Софи, воинственная по натуре, настаивала, чтобы он вступил в борьбу с первым консулом. Вокруг Моро увивались эмиссары Кадудалья и графа Артуа. Вандейка посоветовала прибегнуть к такому союзу – хотя бы для того, чтобы убрать Бонапарта. Совет неосторожный, но у Софи был напористый нрав и пылкое сердце.

Тем временем в Марселе маленький Виктор, прежде времени отнятый от груди, был доверен Клодине, жене отцовского денщика. Майор Гюго, возведенный в чин отца-кормильца, опекал трех своих сыновей, воспитывал их, как мог, и все заверял Софи в своей супружеской любви: «Я велел им поцеловать твое письмо и дал им от имени обожаемой мамы конфет... Хотя я и молод, а в этом городе царят соблазны, не бойся ничего... Ты увидишь меня достойным твоих целомудренных поцелуев...» Доверчивый супруг, терзаясь долгим отсутствием жены, старался успокоить себя. «Ни одна женщина не любит мужа сильнее, чем ты, я был бы очень несчастен, если бы тут ошибался...» Самый склад фразы доказывает, что у него имелись сомнения на этот счет. Первого января 1803 года он пишет своей Софи о детях: «Сегодня Абель пришел ко мне с поздравлением, а толстяк Эжен, стоя за ним, повторял его слова. Оба были такие забавные!.. Если ты предвидишь, что старания твои бесполезны, сократи время моего вдовства, возвращайся, чтоб утешить меня. Раз уж нельзя отвратить беду, я буду менее несчастным, если буду царить над тобой...»

В июне 1803 года Виктор, которому было тогда шестнадцать месяцев, потребовал, по словам майора, свою «мам-ма». А на самом-то деле он совсем ее не знал. Госпожа Гюго была тогда в замке Сен-Жюст, близ Вернона, в обществе Лагори, попавшего в немилость. «Клуб Моро» продолжал открыто поносить Бонапарта, и тот покарал смельчаков. Несмотря на ходатайства Софи перед Жозефом Бонапартом, майора Гюго послали на Корсику. С тремя маленькими детьми он отплыл на корабле в Бастию, старинный город с высокими угрюмыми домами. «Возвратись, моя дорогая Софи, в объятия твоего верного Гюго... – писал он жене. – Будь спокойна за мою верность. Помимо того, что здесь опасно ухаживать за женщинами, ибо, кроме возможности подхватить какую-нибудь болезнь, следует еще остерегаться ударов стилета, в душе моей не угасает воспоминание о тебе, не меркнет твой дорогой образ, и я не могу причинить тебе огорчение, зная, что кара, грозящая мне, станет для меня смертельной мукой...» Кара, однако, предшествовала проступку; госпожа Гюго едва отвечала на письма, а покинутый отец должен был заботиться о малыше, у которого прорезывались зубы. «Он напоминал легендарного воина, – говорил Сент-Бёв, – великана, который собрал в свой шлем трех пухленьких малюток с ангельскими личиками и без труда несет их в походе от привала к привалу, проявляя о них материнскую заботу».

Абель ходил в школу; Эжен, толстяк с румяными щечками и белокурыми кудряшками, был любимцем всех дам; Виктор оставался хилым и грустным ребенком. У него была огромная голова, слишком большая для его худенького тельца, и от этого он казался уродливым карликом. «Часто бывало, что он забивался в какой-нибудь уголок и молча проливал слезы, никто не знал почему...» Отец доверил его женщине, которая должна была водить его гулять; с первых же дней мальчик невзлюбил ее. Он сердился, что она не умеет говорить по-французски, он называл ее «cattiva» – злая. Можно представить себе, что творилось в сердце этого ребенка, оставленного матерью, этого чахлого малютки, совсем не похожего на двух старших братьев-крепких. Так закладывалась основа мрачного характера, которая будет проглядывать сквозь необыкновенную жизненную силу Виктора Гюго.

В 1803 году батальон перевели на остров Эльбу, и только там, в Портоферрайо, госпожа Гюго соединилась наконец со своей семьей. Муж настойчиво звал ее: «Все удивляются, что ты не приезжаешь и что дети оставлены на меня. Уже начались всякие толки...» Софи хорошо знала, зачем она едет, – увезти в Париж троих своих сыновей, которых она обожала, и встретиться там с Лагори. Она рассчитывала добиться согласия майора, полагая, что при его пылкости, хорошо ей известной, он, должно быть, уже завел любовную интригу и захочет получить свободу. И действительно, как только госпожа Гюго приехала, добрые души оповестили ее, что майор сошелся на острове с девицей Катрин Тома, отец которой служил экономом в госпитале, но был уволен за растрату. Хоть Софи и сама была виновата перед мужем, она проявила негодование, отвергла любовные домогательства Гюго и уехала обратно в ноябре 1803 года. В Портоферрайо она прожила меньше четырех месяцев.

В дальнейшем она заявляла, что муж совсем не уговаривал ее остаться, что он желал получить свободу, чтобы сожительствовать с любовницей. Несомненно, майор Гюго был слаб перед плотскими соблазнами. И все же он предпочел бы любовницам свою жену, если б она сделала терпимой совместную жизнь. Но конфликт между женой и мужем исходил из разницы темперамента.

### *Майор Гюго – жене, 8 марта 1804 года*

Прощай, Софи. Помни, что меня точит червь, желание обладать тобой; помни, что в моем возрасте страсти отличаются особой горячностью и что, хоть я и ропщу на тебя, я чувствую потребность прижать тебя к своему сердцу...

Если б жена вернулась раньше, утверждал майор, он никогда бы ей не изменил: «Да, я хочу принадлежать тебе одной, но, чтобы принадлежать тебе одной, нужно, чтобы я никогда не испытывал холодности с твоей стороны и ты никогда бы не отталкивала меня. А иначе лучше уж жить раздельно...»

Это еще не был полный разрыв. Леопольд Гюго любил своих сыновей, он признавал свои ошибки, но ответственность за них возлагал на жену:

Можно ведь в моем возрасте и с моим, к несчастью, пылким темпераментом иной раз и забытья, но в этом всегда виновата была ты сама... Я еще слишком молод, чтобы жить в одиночестве, слишком крепок здоровьем, чтобы меня не влекло к женщинам; я люблю, скажу больше, я буду по-прежнему *обожать* свою жену, если моя жена пожелает признать, что мне необходима ее любовь и ее ласки. Но я могу быть благоразумным только близ своей жены; итак, дорогая Софи, я думаю, что гораздо лучше было бы для меня произвести с тобою на свет еще одного ребенка, чем бросить тебя ради другой женщины, и знать, что дети мои растут вдали от любящего взора отца. Я чувствую в себе достаточно душевных сил, чтобы составить счастье той, которая пожелает судить обо мне без предубеждения; в смысле телесном (скажу по секрету только тебе одной) я никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как сейчас; в смысле образования я много приобрел за время твоего отсутствия...

Обезоруживающая откровенность, которая могла бы тронуть, но Софи любила другого. На обратном пути в Париж, очень долгом и трудном, она радовалась, что покажет Лагори троих своих сыновей: крепыша Абея, белокурого кудрявого Эжена и нежного, чувствительного малыша Виктора. Когда экипаж остановился на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, у конторы почтовых карет, она была удивлена, что не видит Лагори, которого она известила о своем воз-

вращении. Она побежала в резиденцию генерала. На двери были наклеены два объявления. В них сообщалось, что разбойники-роялисты покушались убить первого консула; народ Парижа призывали доносить на их сообщников и содействовать их аресту. Далее приводился список заподозренных лиц. Среди них Софи прочла: *Виктор Клод Александр Фанно Лагори*.

Она была потрясена, но не удивлена. Что Моро участвовал в заговоре против Бонапарта, что он называл Конкордат «поповщиной» и отказался от ордена Почетного легиона, что он окружил себя иностранцами, эмигрантами и идеологами роялизма, что его теща и жена явно ему содействовали – все это Софи знала еще до своего отъезда. Что Лагори настраивал Моро против первого консула и, хоть считал себя республиканцем, готов был под влиянием Софи посоветовать Моро заключить временный союз с роялистами, – это она тоже прекрасно знала. Моро, который был в прошлом якобинцем и все еще сохранял якобинский душок, долго держался в стороне. К тому же он стал теперь владельцем замка Гробуа, растолстел, был сластолюбцем и принадлежал к породе тех полководцев, кто способен привести свои войска к берегам Рубикона, но вместо того, чтобы перейти его, устроить там пиршество.

Лагори был единственным энергичным человеком в его окружении. Поэтому полиция первого консула тотчас решила арестовать его, придавая этому особую важность. Префектам были сообщены его приметы: «Рост – пять футов два дюйма; волосы – черные, зачесаны на лоб; брови черные; глаза черные, довольно большие, глубоко сидящие; желтоватые круги под глазами; лицо попорчено оспой; смех язвительный...» Была еще одна характерная примета – несколько искривленные от верховой езды ноги. Полиция искала его повсюду – в Майенне, затем в замке Сен-Жюст и, наконец, в Париже, у его друга, в доме № 19 на улице Клиши. Нигде его не нашли. А он укрывался на другой стороне улицы, в доме № 24, у госпожи Гюго, которая за несколько дней до того поселилась там со своими сыновьями. Впрочем, он оставался у нее только четыре дня и, не желая подвергать свою подругу опасности, вновь повел скитальческую жизнь изгнанника. Наполеон Бонапарт будто бы по природному милосердию и соображениям практическим выразил желание, чтобы молодой генерал эмигрировал в Соединенные Штаты и постарался бы, чтобы о нем позабыли, но Лагори остался во Франции и время от времени появлялся переодетым на улице Клиши, где его всегда принимали с нежностью.

## II

### Мне снятся войны...

Самые ранние воспоминания Виктора Гюго связаны с домом на улице Клиши. Он помнил, что «в этом доме был двор, а во дворе – колодец, около него каменная колода для водопоя и над нею раскинулась ива; помнил, что мать посылала его в школу на улицу Мон-Блан; что о нем больше заботились, чем о двух старших братьях; что по утрам его водили в комнату мадемуазель Розы, дочери школьного учителя; что мадемуазель Роза, еще лежавшая в постели, усаживала его возле себя и, когда она вставала, он смотрел, как она надевает чулки...». Первое пробуждение чувственности оставляет у ребенка глубокие следы и запоминается ему на всю жизнь. Как бы то ни было, в стихах Гюго мы часто встречаем идиллические картины «разувания», женские стройные ноги в белых или черных чулках и маленькие босые ступни.

Леопольда Гюго послали в Италию. Жозеф Бонапарт, мягкий человек, литератор, прервавшийся против своей воли, но по воле знаменитого брата в полководца, получил приказ завоевать Неаполитанское королевство. Он знал майора Гюго, служившего под его началом в Люневиле, и благоволил к нему. В Париже министерство долго противилось какому бы то ни было продвижению офицера, скомпрометированного дружбой с Моро и Лагори. О муже, который жил где-то далеко и почти что в разводе с нею, Софи Гюго вспоминала лишь для того, чтобы попросить у него денег. Он с ворчаньем посылал ей половину своего жалованья, а когда его субсидии становились нерегулярными, Лагори, еще имевший тайные резервы, брал на себя заботу о семье.

Наконец Леопольду Гюго выпал случай отличиться. Захват Неаполя вызвал в горах Калабрии восстание *bravi* – полупатриотов-полуразбойников. Самый смелый из их вожakov, Микеле Пецца, по прозвищу *Фра-Диаволо*, скорее партизан, чем бандит, боролся с оккупантами и был после кровавой стычки взят майором в плен. Это создало Леопольду Гюго «огромную славу» и дало основание Жозефу Бонапарту назначить его губернатором провинции Авеллино, а также произвести его в полковники.

А положение Лагори в это время (1807 г.) ухудшилось. Его денежные средства истощались. Ощущение затравленности придавало его лицу напряженное выражение, челюсти его, «как у больного столбняком», все время судорожно сжимались. Всегда находясь в лихорадочном возбуждении, в тревоге, он жалел о тех днях, когда солдаты Свободы весело входили в баварские и тирольские города, и проклинал «тирана», которым был теперь уже не Людовик XVI, а император Наполеон. Когда Софи Гюго увидела, что ее другу нельзя больше появляться в Париже, где его подстерегает Фуше, что у нее скоро не будет денег для пропитания детей, она написала мужу, что готова послушаться его увещаний и вернуться к нему. Однако он уже не хотел этого. «Я вовсе и не думаю требовать, чтобы ты приехала... Ты сама виновата, что у меня пропало желание жить совместно с тобой, тем более что я не имею прочного положения...» Нужда пишет свои законы. Софи не посчиталась с таким заявлением и в октябре 1807 года, не предупредив мужа, отправилась к нему в Италию.

Маленькому Виктору было тогда только пять лет, но он был очень впечатлительный и наблюдательный мальчик. Ему на всю жизнь запомнилось, как он ехал через всю Францию в дилижансе; запомнился перевал Мон-Сени и то, как хрустели льдинки под полозьями саней, как подстрелили орла, как останавливались на привал, чтобы поесть, а главное, запомнились ему висевшие на деревьях обрубки человеческих тел, еще красные от крови; вместе с братьями он смотрел на них в окошко кареты, на которое они налепили от скуки крестики из соломинок. Ужас, который внушали ему смертная казнь, пытки и виселицы, антитеза – виселица и крест, – все эти мысли, преследовавшие его до самой смерти, первые свои корни пустили в его душе еще в детстве, пищу им дали сильные впечатления ребенка.

Госпожу Гюго, любившую бретонские сады больше, чем пышные цветы Юга, занимали только поиски пристанища, но дети были очарованы Неаполем, «сверкающим на солнце в белом своем одеянии с голубой бахромой...». А с какой гордостью они увидели в конце своего путешествия отца, встретившего их в полковничьем парадном мундире, да почувствовали, что они сыновья губернатора и принадлежат к стану победителей:

Средь народов покорных я был без охраны,  
Удивляясь вниманью и робости странной —  
Неужели ребенок внушил им испуг?..  
Имя Франции я называл, и неожиданно  
Чужеземцы бледнели вокруг<sup>2</sup>.

По правде сказать, полковника Гюго, проживавшего в губернаторской резиденции совместно с девицей Тома, ошеломил неожиданный приезд жены, но он был славный человек, он любил своих сыновей. Семью он устроил в Неаполе и на несколько дней открыл ей двери своего дома в Авеллино, предварительно выпроводив оттуда Катрин Тома.

Каждый ребенок живет в волшебной сказке, но сказка первых лет жизни Виктора Гюго кажется особенно волшебной. Три мальчика, три брата, живут в Италии в старинном дворце, мраморные стены которого испещрены трещинами, неподалеку глубокий овраг, и в нем густая тень от орешника. В школу ходить не надо – полная свобода, атмосфера летних каникул (преlestь ее Гюго любил всю жизнь), всемогущий отец; дети почти и не видели его, но время от времени он появляется и для забавы своих сыновей готов скакать верхом на своей длинной сабле в ножнах, а во дворе его всегда почтительно ждут всадники в блестящих касках; отец, которого любит брат императора, король Неаполитанский; отец, который приказал занести в списки своего полка маленького Виктора, и с этого дня малыш считал себя солдатом. Дети с восторгом запускали руки в густую бахрому золотых отцовских эполет. В письмах полковник с любовью говорил о своих сыновьях: «Виктор, самый младший, выказывает большие способности к учению. Он такой же положительный, как старший брат, и очень вдумчивый. Говорит он мало и всегда уместно. Меня не раз просто поражали его рассуждения. Лицо у него очень кроткое. Все трое – славные ребята, они очень дружны между собой, двое старших чрезвычайно любят младшего. Так жаль, что их не будет со мной. Но здесь нет возможности дать им образование, придется всем троим ехать в Париж».

Но не в том была истинная причина. Между полковником и его женой не произошло примирения. Девица Тома и Виктор Лагори слишком хорошо были видны на горизонте. Любвица требовала, чтобы супруга уехала; супруга отказывалась играть роль любовницы. Дети угадывали, что в семье идет какая-то таинственная борьба, но весьма смутно понимали из-за чего. Они гордились отцом и сознавали, что он чем-то обидел обожаемую ими мать. Все трое с грустью простились с мраморными дворцами. В Италии они вновь встретились с обоими детьми Пьера Фуше, приятеля их отца. Секретарь трибунала выхлопотал себе временное назначение инспектором по поставкам провианта в Италию. В Париже к этому времени число судебных процессов сократилось, уменьшились и доходы судебных канцелярий, и Пьер Фуше мечтал о военных поставках, на которых люди наживали тогда состояния. Маленькому Виктору Фуше было в ту пору пять лет, его сестре Адели – четыре года. Это была рассеянная и мечтательная малютка, «с челом, позлащенным лучами солнца, со смуглыми плечиками». Три мальчика Гюго приняли ее в свою компанию, вместе играли в шары, которые заменяли апельсины. Но госпожа Фуше, равнодушная к ярким краскам Неаполя, сожалела об улице Шерш-Миди и тенистом саде при Тулузском подворье. Семейство Фуше уехало из Италии почти в

---

<sup>2</sup> Виктор Гюго. Мое детство («Оды и баллады»).

то же время, как и госпожа Гюго со своими сыновьями. Мальчикам все равно не пришлось бы долго оставаться в Неаполе, так как Леопольд Гюго вскоре после их отъезда был вызван в Мадрид Жозефом Бонапартом, возведенным в сан «короля Испании и обеих Индий». Император перемещал монархов, как перемещают полководцев. Леопольд Гюго отказался от всяких попыток вернуть себе свою жену, но не отрекся от забот о своих детях. «Совесть у тебя спокойна. И мне тоже не в чем упрекнуть себя, но, чтобы оправдать одного из нас, нужно было бы возложить всю вину на другого. Предоставим времени затухать воспоминания о сложившихся роковых обстоятельствах. Воспитывай детей в должном уважении к нам обоим, дай им надлежащее образование, старайся, чтобы они способны были когда-нибудь приносить пользу. Отдадим им всю свою привязанность, ибо мы-то уже убедились, как нам вместе трудно ужиться...» В этом письме есть и чувство достоинства, и некоторая доброта. Рубака с длинной саблей был человеком душевным.

Париж, февраль 1809 года. Госпожа Гюго, которая могла теперь рассчитывать на три, а вскоре и на четыре тысячи франков содержания, высылаемого ей мужем, наняла в доме № 12 на улице Фельянтинок просторную квартиру в первом этаже здания старинного монастыря, основанного Анной Австрийской. Гостиная, почти что дворцовый покой, «полная света и пения птиц», имела величественный вид. Над стенами ограды возвышался Валь-де-Грас с изящным своим куполом, «похожим на тиару, завершавшуюся карбункулом». При доме был огромный сад – «парк, лес, поляны... аллея, обсаженная старыми каштанами, где можно было повесить качели, высохший водосборный колодец, весьма пригодный для игры в войну. Множество цветов... девственный лес в воображении ребенка». Здесь мальчики на каждом шагу делали открытия. «Знаешь, что я нашел?» – «Ты ничего не видел? Вон там, вон там!» Радость усиливалась, когда в воскресенье приходил из лицея Абель и братья показывали ему этот рай. «Я вспоминаю себя ребенком, смеющимся румяным школьником, когда я играл, бегал, смеялся со своими братьями в длинной аллее тенистого сада, где протекли первые годы моей жизни, в старой усадьбе монахинь, над которой возвышался свинцовой своей главой мрачный купол собора Валь-де-Грас...»<sup>3</sup>

Мои учителя... В кудрявом детстве, помню,  
Их было трое: мать, священник, сад укромный.

Тенистый старый сад! За каменной стеной  
Он тихо прятался, таинственный, густой;  
Лучистые цветы глядели там в глаза мне,  
Букашки и жучки там бегали по камню;  
Сад, полный отзвуков... Там был лужок и лог,  
А дальше словно лес! Священник-старичок  
Был в Грецию влюблен, в священный град Приама  
И в Тацита... А мать была... ну, просто мама!<sup>4</sup>

Этот «священник-старичок», отец Ларивьер (точнее, *де ла Ривьер*), был монах-расстрига, женившийся в годы Революции на своей служанке, так как предпочитал лучше «расстаться с обетом безбрачия, чем со своей головой». Он содержал с женой маленькую школу на улице Сен-Жак. Когда он хотел было посадить Виктора Гюго за букварь, то заметил, что малыш уже умеет читать – сам научился. Но отец Ларивьер, «вскормленный Тацитом и Гомером», мог преподавать своему ученику латынь и греческий язык. Мальчик переводил с ним «*Epitome*»,

<sup>3</sup> Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти.

<sup>4</sup> Виктор Гюго. В саду на улице Фельянтинок в 1813 году («Лучи и тени»). Перевод Н. Вольпиной.

«De viris», Квинта Курция, Вергилия. Грамматические формы латыни внушали ему какое-то уважение. Он безотчетно полюбил этот сжатый и сильный язык.

И все же подлинным учителем для него был сад. Именно там Виктор Гюго научился вглядываться в прекрасную и грозную природу. Там он любовался ромашками, «золотыми шарами», барвинком, там он видел также, как грызуны пожирают птиц, птицы пожирают насекомых, а насекомые пожирают друг друга. Он сам предавался жестокой забаве – ловил шмелей в цветах штокрозы, «внезапно пальцами сжав лепестки...». Рано развивалась мысль ребенка, и он задумывался, замечая эту всеобщую бойню. Все три брата были любознательные и беспокойные натуры, одинаково открытые и восторгу и смятению. «И самое прекрасное, что находили они в саду, как раз было то, чего в нем на самом деле не было...»

Они унаследовали от отца богатое, порой необузданное воображение. У пересохшего колодца они подстерегали Глухого – выдуманное ими чудовище, черное, мохнатое, липкое, покрытое волдырями. Они никогда не видели этого Глухого и знали, что никогда его не увидят, но им нравилось пугать друг друга. Виктор говорил Эжену:

– Пойдем к Глухому.

Все жуткое и таинственное привлекало их. Слово Шварцвальд – *Черный Лес* – пробуждало в душе мальчика «образ, вполне совпадающий с таким названием, как это свойственно детям... Я представлял себе какой-то волшебный, непроходимый, страшный лес, сумрак среди высоких деревьев, глубокие овраги, затянутые туманом...». Над его кроватью висела черно-белая гравюра, где изображена была древняя развалившаяся башня на берегу Потока – мрачные, полные ужаса руины. Эта картина, запечатлевшаяся в мозгу ребенка, несомненно, способствовала развитию у него склонности к резким контрастам, к игре света и тени. Башня была не что иное, как *Mäuseturm*<sup>5</sup>, а Поток – рекой Рейном.

В усадьбе фельянтинок «сохранились на каменных стенах ограды, среди замшелых планок трельяжей следы переносных алтарей, ниши, в которых когда-то стояли статуи мадонн, обломки распятий, а кое-где и надпись: *Национальное имущество...*». В глубине сада была старая развалившаяся часовня, которой завладели цветы и птицы. Некоторое время госпожа Гюго запрещала сыновьям подходить к часовне. Она прятала там Лагори, которого искала императорская полиция как участника заговора Моро. Давать ему убежище – значило рисковать своей головой. Храбрая бретонка, выросшая среди заговоров, пренебрегла опасностью. Как-то дети обнаружили в часовне господина де Курлянде (вымышленная фамилия), он стал приходить в дом и ел вместе со всеми. Мальчики когда-то видели его мельком на улице Клиши, но с тех пор он очень изменился. Теперь перед ними предстал человек среднего роста, с блестящими глазами, с изможденным лицом, слегка рябоватый, черноволосый, с черными бакенбардами, человек почтенного вида, сразу же внушивший им уважение. В часовне для него за алтарем была поставлена походная кровать, в углу лежали его пистолеты и томик Тацита *in octavo*<sup>6</sup>, которого он заставлял своего крестника переводить. Однажды он посадил Виктора к себе на колени, раскрыл этот томик, переплетенный в пергамент, и прочел вслух: «*Urbem Romam a principio reges habuere*»<sup>7</sup>. Прервав себя, он сказал: «Если бы Рим не свергал своих властителей, он не был бы Римом». И, нежно глядя на мальчика, добавил: «Дитя, свобода превыше всего». Изведав бремя тирании, он теперь преклонялся перед свободой, это стало для него религией. Мальчики привязались к «господину Курлянде», которым восторгалась их мать. Они смутно понимали, что император преследует его, и были на стороне преследуемых, против властителей.

<sup>5</sup> Мышиная башня (нем.). С этой башней связано множество средневековых легенд.

<sup>6</sup> В восьмую часть листа (лат.).

<sup>7</sup> Городом Римом вначале владели цари (лат.).

По воскресеньям в монастырь фельянтинок, кроме Абея, приходили два других товарища в играх – Виктор и Адель Фуше. Мальчики еще были в том возрасте, когда они презирают «девчонок». Виктор Гюго, повесивший под каштанами качели, милостиво позволял маленькой Адели «покататься», она усаживалась на них с гордостью, но с трепетом сердечным и просила, чтобы ее «не заносили... так высоко, как в прошлый раз». А то бывало, что мальчики предлагали Адели сесть в старую колченогую тачку, завязывали ей глаза, мчали ее по аллеям, а Адель должна была угадывать, где она находится. Если она плутовала, платок стягивали «крепко-крепко – до синяков» и строгие голоса спрашивали у нее: «Куда ты приехала, отвечай». А когда мальчикам надоедало играть с ней, они вытаскивали в огороде подпорки для гороха, обращали их в пики и устраивали сражения. Виктор, самый маленький, старался превзойти всех.

Лагори прожил на улице Фельянтинок полтора года, никто его не видел, не слышал, не знал о нем. Выражение лица у него опять стало спокойным. Он ждал, что наступит время милосердия и свободы. Думал, что накануне брака с эрцгерцогиней Мари-Луизой император почувствует себя достаточно сильным, чтобы забыть обиды первого консула. Поэтому он несколько не удивился, когда в один прекрасный день человек, посланный госпожой Лагори, его матерью, пришел сообщить ему, что господин Дефермон, председатель избирательного корпуса Майенны, говорил о нем с императором и тот ответил: «А где же сейчас Лагори? Почему он не показывается?» Генерал Лагори истомился в заточении. Его одолевали теперь всякие безумные надежды: что император вспомнил о его заслугах, что теперь начинают чувствовать недостаток в талантливых людях и решили найти ему применение. В июне 1810 года вместо Фуше министром полиции был назначен Савари, старый товарищ Лагори, – они были на «ты». Почему бы изгнаннику не пойти к новому министру и не открыться ему с полным доверием? Софи Гюго настойчиво отговаривала его от такого шага. Разве можно доверять этим людям? Но 29 декабря Лагори, не предупредив ее, отправился к Савари.

Он возвратился торжествующий. Министр крепко пожал ему руку и сказал: «До скорого свидания». Госпожа Гюго затрепетала. На следующее утро, когда семья собралась за завтраком – господин Курлянде в халате, госпожа Гюго в теплой стеганой блузе и в утреннем чепчике, – раздался звонок. Служанка Клодина доложила, что пришли «какие-то двое», спрашивают господина Курлянде. Он вышел. На землю густо падали хлопья снега. Послышался глухой стук колес. Клодина вбежала с криком: «Ах, сударыня, они увезли его!» Лагори заточили в башню Венсенского замка. Маленький мальчик с высоким лбом был свидетелем драматической сцены и запомнил волнение ее участников. Знал ли он, кем был Лагори для его матери? Дети не знают таких вещей, лишь смутно их чувствуют. А когда сыновья всё поняли, их любовь к матери была так велика, что они никогда, ни единым словом, не касались этой стороны ее жизни.

В Венсенском замке Лагори держали в одиночной камере, в секретном отделении, и Софи не могла сообщаться с ним. Наконец, в июне 1811 года, свидания с ним были разрешены, но тогда она уже была в Испании. И вот почему.

Леопольд Сигисбер Гюго стал генералом в армии короля Жозефа, важным сановником при его дворе и графом Сигуэнса (испанский титул). Король осыпал его почестями и наградами. Луи Гюго, брат генерала, веселый, красноречивый, обаятельный человек, явился на улицу Фельянтинок и стал уговаривать невестку примириться с мужем. Его блестящая сабля, его рассказы об Испании, его ореол военного человека произвели глубокое впечатление на племянников, им он казался «кем-то вроде архангела Михаила». А то, что он рассказывал, было ослепительно-прекрасным и вместе с тем ужасным. Супругу генерала Гюго, губернатора трех провинций, ждет в Испании высокое положение. Она будет графиней, будет богата. Король Жозеф пожаловал генералу в дар миллион реалов при условии, чтобы он обосновался в Испании и купил себе там имение. Ведь это обеспеченное будущее. Но дядя Луи рассказывал также о расстрелах, о сожженных монастырях, о бандитах, устраивающих засады. Жена генерала Гюго и ее дети могут проехать только под охраной вооруженного конвоя.

Луи Гюго не удалось убедить невестку, но вскоре парижские банкиры Терно уведомили госпожу Гюго, что муж прислал ей деньги – пятьдесят одну тысячу франков, для того чтобы она купила себе дом во Франции. Дело уже становилось серьезным. Если действительно генерал Гюго вознесся на вершину почестей, разве она имеет право лишать своих сыновей удачи в жизни? О своем решении она сообщила королю Жозефу через его эmissаров. Король хорошо знал Софи Гюго, он еще в Люневиле оценил по достоинству ее ум и ее изящество. Ему досадно было, что генерал Гюго, один из видных сановников его двора, компрометирует себя перед всей Испанией сожительством с какой-то девицей Тома, авантюристкой, именуемой теперь «графиней де Салькано». Король пожелал, чтобы приехала законная жена и потребовала свое законное место у семейного очага.

Жозеф Бонапарт расточал госпоже Гюго всяческие заверения. Она уступила. На следующий же день она подарила Эжену и Виктору словарь и грамматику испанского языка. «Через полтора месяца эти одаренные мальчики уже знали достаточно, чтобы их могли понимать». Весной 1811 года госпожу Гюго уведомили, что формируется обоз и что она должна присоединиться к нему в Байонне. Она взяла у банкиров Терно двенадцать тысяч франков на дорожные расходы, выправила паспорт на имя госпожи Гюго, урожденной Требуше де ла Ренодьер, и наняла целый дилижанс, который и довез ее от Парижа до Байонны. Она ненавидела путешествия. А для ее сыновей переезд был упоительным приключением. Им понравились и удобная карета, и города, через которые они проезжали. У Виктора был острый взгляд и такая цепкая память, что двадцать лет спустя он верно нарисовал две прекрасные башни Ангулемского собора, которые видел лишь мельком. Всю жизнь он помнил Байонну, где пришлось прожить месяц в ожидании обоза, помнил театр, где они сидели в ложе, обтянутой красным коленкором, и семь раз смотрели мелодраму «Развалины Вавилона»; помнил те вечера, когда все три брата, испачкав разноцветными мазками чашечку в ящиках для красок, размалевывали картины в книге, подаренной им Лагори, – «Тысяча и одна ночь». А больше всего запомнилась Виктору четырнадцатилетняя девочка с ангельским лицом, исполненным чистой прелести, как у дев Вергилия; она читала ему вслух, сидя на садовой скамье. Он стоял позади чтицы, но не слушал, он весь поглощен был ее созерцанием, дивился матовой белизне ее тонкой шейки. Когда ветер заворачивал косынку на ее плечах, он с каким-то странным, смешанным чувством неловкости и восхищения видел округлую белую грудь, тихонько поднимавшуюся и опадавшую в тени, пронизанной теплыми беглыми отблесками солнца.

Не раз случалось, что в такие мгновения она вдруг поднимала свои большие голубые глаза и говорила мне: «Виктор, ты что не слушаешь?» Я терялся, краснел, трепетал... Я никогда сам не осмеливался ее поцеловать, но иногда она подзывала меня и говорила: «Ну, поцелуй же меня». В день отъезда я испытал две великие печали: грустно было разлучаться с ней и выпустить на волю своих птиц...

Байонна осталась в моей памяти как что-то дорогое, милое, праздничное. К ней восходят самые ранние воспоминания моего сердца. О годы наивности, но уже возникающих нежных волнений! Именно в Байонне я увидел, как в тайнике моей души забрезжил первый, невыразимый свет, божественная заря любви...<sup>8</sup>

Супругу генерала Гюго, графиню де Сигуэнса, на протяжении всего пути встречали с почетом. Огромный парадный экипаж в стиле рококо, запряженный шестеркой лошадей или же мулов и нанятый на весь переезд за две тысячи четыреста франков, был куда внушительнее, чем кареты других путешественников, испанским герцогиням приходилось уступать ему

<sup>8</sup> Виктор Гюго. Пиренеи («Путешествия»).

дорогу. Как было не важничать трем мальчишкам-подросткам? Виктору сразу полюбилась Испания, земля контрастов: пейзажи то веселые, то мрачные, залив у Фуэнтэррабиа: блестящий вдали, как драгоценный камень; первый город, который он увидел в Испании, назывался Эрнани. Мальчика поразил его облик – благородный, гордый и суровый; он увидел кастильских овчаров, в руках которых пастуший посох казался скипетром. В пограничном городе Ируне узкие улицы, черные дома, деревянные резные балконы и крепостные ворота очень удивили маленького француза, выросшего среди мебели красного дерева стиля ампир.

Его глаза, привыкшие видеть кровати с легким пологом, усеянным звездами, изящные подлокотники кресел в виде лебединой шеи и бронзовых позолоченных сфинксов, украшавших подставки для дров в каминах, теперь с каким-то испугом смотрели на тяжелые балдахины, нависавшие над постелями, на массивное столовое серебро с выпуклым витым орнаментом, на окна с мелкими стеклышками в свинцовом переплете. Но сама эта необычность нравилась ему. Даже скрип испанских телег, такой жалобный, такой резкий, казался ему приятным. Никогда Виктор не забывал строгого и твердого звучания испанской речи – недаром же у всякого, кто слышит ее, «безотчетно, так сказать, машинально, возникают в душе величественные образы, исполненные бурных чувств, блеска, яркой красочности и страсти...».

В испанских церквах он видел странные статуи святых, то истекающих кровью, то одетых в золотую парчу, видел над церковными порталами стенные часы в обрамлении шутовских и фантастических фигур. В Испании уродов видишь в повседневной жизни. На улицах встречаешь нищих, как будто сошедших с полотен Гойи, и карликов Веласкеса. Вокруг обоза кишели обитатели Двора Чудес. Цепкая память мальчика схватывала «пестрые картины», грозные силуэты дозорных на вершинах утесов и трупы бандитов, расстрелянных на краю дороги. Ужасные картины. Рассказы провожатых дополняли их. Генерал Гюго, говорили они, приказал выбросить из окна дезертиров-испанцев, и они разбились, упав на землю; его солдаты перестреляли всех монахов какого-то монастыря. А повстанцы, говорят, подвергали пыткам женщин и детей, выпускали им кишки, сжигали заживо. Устроив засаду в ущельях, партизаны подстерегали караваны. Мальчиков-французов преследовали видения войны и смерти.

После бесплодного Кастильского плоскогорья им очень понравился Мадрид, его розовые дома и зелень, но отца они там не нашли. Ничего не зная о приезде Софи Гюго, вызванной в Испанию королем Жозефом, генерал находился в своей резиденции с девицей Тома, которую он привез с собою из Неаполя переодетой в мужской костюм. Генеральшу поместили с почетом во дворце Массерано, в великолепных апартаментах: красный узорчатый шелк, gobelены, богемский хрусталь, китайские вазы, венецианские люстры, рисунки Рафаэля и Джулио Романо. Маленькому Виктору отвели красивую спальню, где стены обиты были желтой парчой; лежа в постели, он видел образ Богоматери семи скорбей в платье, затканном золотом и вышитом золотой гладью, но с сердцем, пронзенным семью мечами. Управляющий называл госпожу Гюго «ваше сиятельство», но ребенок чувствовал, что тут во всех сердцах горит пламя восстания. Во дворце Массерано была портретная галерея. Там часто находили Виктора, мальчик молча сидел в уголке и рассматривал испанских грандов с надменными лицами, смутно догадываясь, что весь этот старинный род, да и вся нация проникнуты гордостью. Он мог ходить по роскошным покоям как сын победителя, но оставался чужестранцем, незаконно вторгшимся сюда, – смотрел ли он на алтаре в стиле поздней готики или на портреты грандов в крахмальных плетеных воротниках. Он знал, что испанцы окрестили Наполеона по-своему: «*Наполевор*».

Отношение к императору стало у мальчика двойственным: как всякий французский ребенок, он восторгался Наполеоном, считал его героем, но вместе с матерью и Лагори ненавидел его как тирана. Та же двойственность была и в его отношении к отцу: Виктор гордился, что он сын генерала, графа Гюго, губернатора трех провинций, что благодаря отцовскому имени он живет в красивом дворце, а вместе с тем в душе все возрастала обида на отца за то, что он сделал маму такой несчастной; он испытывал тайное смущение при мысли, что генерал пресле-

дует в Испании испанцев так же, как он преследовал в Италии патриотов, называя их бандитами. Когда Виктор сидел тихонько в «галерее предков» и придумывал всякие романтические истории, он охотно представлял себя в роли преследуемого изгнанника, который возвращается на родину триумфатором.

Именно в Мадриде вспыхнуло у него первое чувство, крепко связавшее его с Испанией. В больших покоях дворца Массерано с росписью на плафонах и стенах он встретил шестнадцатилетнюю Пепиту, дочь маркизы Монте-Эрмосо, одной из возлюбленных короля Жозефа:

В Испании, столь сердцу милой,  
Однажды, в ранний час, весной, —  
А мне тогда лет восемь было —  
Пепита встретилась со мной

И молвила с улыбкой чинной:  
«Я Пепа!» – поклонившись мне.  
Я почитал себя мужчиной  
Там, в завоеванной стране...

Ее шиньон был в тонкой сетке  
С каскадом золотых монет,  
И в пламенных кудрях кокетки  
Струился золотистый свет.

Под солнечным лучом блистали  
Жакета бархат голубой,  
Муар на юбке цвета стали  
И шаль с каймою кружевной.

Дитя – но женщина... И Пепе  
Не покориться я не мог.  
Сковали душу мне, как цепи,  
Одетый в бархат локоток,

Янтарное кольцо на шее,  
Куст роз под стрельчатым окном...  
Пред ней дрожал я, цепenea,  
Как жалкий птенчик пред орлом.

В смущенье, сам себя не слыша,  
Я что-то ей пролепетал...  
Она шепнула строго: «Тише!» —  
Но пыл мой только жарче стал.

А тут же, во дворце, где в зале  
От витражей полутемно,  
Солдаты в домино играли  
И пили старое вино<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Виктор Гюго. Песни дедушки о днях его детства; Пепита («Искусство быть дедом»). Перевод И. Шафаренко.

Шел июнь 1811 года. Король Жозеф находился в Париже по случаю крещения короля Римского. Кто же сообщит генералу Гюго о приезде его семьи? Госпожа Гюго еще раз обратилась к своему обязательному деверю Луи. Известие было встречено бурным гневом – с губернатором Гвадалахары чуть не случился удар. Как! Эта женщина, отказывавшаяся быть ему женой, вздумала преследовать его даже в Испании? Он тотчас приказал составить прошение о разводе ввиду серьезного оскорбления, нанесенного ему как мужу. А пока что, до решения дела в суде, он требовал, чтобы дети оставались при нем. Пора положить конец их постоянным каникулам, заявлял он. Пусть Абель будет одним из пажей короля Жозефа, его оденут в красивый голубой мундир с серебряными аксельбантами; Эжена и Виктора отдадут в дворянский коллеж (монастырь Святого Антония Абадского) – на поступление туда им давал право графский титул, полученный их отцом в Испании. Мрачное здание, еще более мрачные наставники. Маленьких французов принял на свое попечение худой и бледный, угрюмый монах дон Базилио. Оставшись одни во внутреннем дворе, они разрыдались. Ночным надзирателем, следившим за дортуаром, где спали сто пятьдесят школьников, состоял горбун в красной шерстяной куртке, синих коротких панталонах и желтых чулках – настоящий придворный шут. Испанцы называли его *Corcoveta*<sup>10</sup>.

Ученики должны были по очереди исполнять обязанности причетников в церкви, но Софи Гюго, вольтерьянка, женщина неверующая, сказала дону Базилио, что ее сыновья не католики, а протестанты. С ними, однако, обращались уважительно, так как их отца было опасно задеть, и к тому же они, к удивлению монахов, проявили большие познания в латыни. В какой же класс их посадить? Переводить «*Epitome*» и «*De viris*» было для обоих уже детской игрой. С Вергилием и Лукрецием они справлялись довольно хорошо.

«Что же вы переводите в восемь-то лет?» – спросил изумленный монах. «Тацита», – ответил маленький Виктор. Школьники-испанцы открыто желали поражения Наполеону. Эжен подрался из-за этого с юным графом де Бельверана, а Виктор – с безобразным рыжеволосым и курчавым мальчуганом по фамилии Элеспуру. Коллеж стал для них адом.

А между их родителями отношения все ухудшались. Возвратившись в Мадрид, король Жозеф нашел там бесчисленные жалобы и ходатайства графини Гюго. Он ее вызвал, выслушал и тотчас приказал генерал-губернатору явиться в Мадрид. Генерал примчался и, когда король предъявил ему ультиматум, уступил по всем пунктам: согласился принять предложенный ему пост в Мадриде, жить во дворце Массерано, взять своих сыновей из коллежа и тотчас же дать три тысячи франков своей жене, у которой уже не было ни гроша.

### *Генерал Гюго – графине Гюго*

Нынче вечером, после обеда у его величества, я приеду навестить тебя.

Посылаю ящик свечей. До свидания, друг мой. Верь моей привязанности.

Примирение оказалось недолгим. Некий коварный приятель вспомнил историю Лагори и сказал, что опасно иметь супругой возлюбленную заговорщика. Генералом Гюго вновь овладел приступ ярости. На этот раз королю Жозефу нечего было возразить. Леопольд Сигисбер выехал из дворца Массерано, поселил свою любовницу в очаровательном домике в Мадриде, заставил Эжена и Виктора показаться на Прадо в коляске вместе с ним и «графиней де Салькано». Но одинокая, покинутая всеми Софи Гюго вскоре вновь пошла в гору. Она имела влияние на короля Жозефа и сумела убедить его, что ее отношения с Лагори были невинны. Ведь ее муж, говорила она, обязан своим продвижением на военном поприще «этому почтенному

<sup>10</sup> Горбун (исп.).

человеку». Так разве могла она после стольких услуг, которые им оказал Лагори, не дать убежище этому покровителю ее супруга? Король Жозеф еще раз метал громы и молнии и объявил губернатору: «Не хочу скрывать своего недовольства вами, вы показываете скандальный пример своими раздорами с женой...» Наконец, не найдя лучшего выхода, Софи Гюго было разрешено возвратиться во Францию с двумя младшими сыновьями, Абель же остался в пажеском корпусе. Жалованье, которое полагалось генералу как мажордому королевского двора (двенадцать тысяч франков в год), должно было впредь непосредственно пересылаться генеральше. О разводе больше не могло быть и речи. Для Софи это было победой.

Обратный путь в охраняемом караване был долгим и полным тяжелых впечатлений. Дети видели ужасные картины: эшафот, человека, казнимого с помощью гарроты, то есть ошейника, который постепенно стягивали, чтобы удавить приговоренного; крест с прибитыми к нему окровавленными кусками человеческого тела – казненного разодрали на части. Мрачное путешествие. Но Виктор вывез из Испании и другие впечатления, иные картины, казавшиеся ему благородными и красивыми. Он смутно понимал, что этот народ отвергает власть захватчиков-французов. «Дитя, свобода превыше всего», – говорил ему Лагори. Что же касается сочетания низменно-безобразного с возвышенным и несколько театральной напыщенностью, которую он замечал и на фамильных портретах во дворце Массерано, и у своих однокашников в коллеже, – все это ему нравилось.

Испания всегда привлекала французов, потому что человеческие страсти сохранили там свою изначальную силу, тогда как в наших общественных рамках она ослабла. Позаимствовав у испанцев тему своего «Сида», Корнель затронул за живое французов времен Людовика XIII. После путешествия по Испании юного Виктора Гюго будут преследовать еще безыменные призраки, которые станут впоследствии образами Эрнани, Руй Гомеса де Сильва, дона Саллюстия и Рюи Блаза; картины, где льется кровь и звенит золото, образ «испаночки с огромными глазами и длинными косами, золотисто-смуглой, с нежным румянцем – четырнадцатилетней андалузки Пепы...»<sup>11</sup>. Из своего короткого, но тесного общения с Испанией он вынес склонность к звучным словам и патетическим чувствам. «Право, можно сказать, что душа Виктора Гюго натурализовалась в Испании после первых же воспринятых ею впечатлений...» Но надо сделать оговорку, что противовесом его испанизму вскоре стало подспудное воздействие немецкого романтизма.

<sup>11</sup> Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти.

### III

## Конец детства

Какая радость возвратиться на улицу Фельянтинок! Благодаря преданности госпожи Ларивьер дорожки в саду вычищены, жаркое подрумянивается на вертеле, постели застланы чистыми простынями. Вскоре отец Ларивьер возобновил свои уроки латыни, а сад – уроки поэзии. Виктор и Эжен больше не ходили в школу, преподаватель сам приходил к ним. Директор Наполеоновского лицея, пожелавший иметь их своими учениками, был плохо встречен госпожой Гюго. Она разделяла чувство ужаса, которое внушил ее сыновьям интернат. Все ее мысли были теперь только о них и друге, томившемся в заключении; она жила очень уединенно, абонировалась в «кабинет для чтения» и посылала своих мальчиков выбирать для нее книги. Одному было восемь лет, другому – десять, содержатель библиотеки, чудаковатый старичок, носивший, как во времена Людовика XVI, короткие панталоны и узорчатые шерстяные чулки, позволял им рыться в книгах. Он допускал их и на антресоли, отведенные для слишком смелых философских трудов и слишком нескромных романов. Там Эжен и Виктор, растянувшись ничком на полу, знакомились с книгами Руссо, Вольтера, Дидро, Ретифа де ла Бретона, с «Фобласом» и «Путешествиями капитана Кука». На замечание старика Райоля, что опасно давать в руки детей непристойные романы, мать отвечала: «Книги никогда не причиняли зла». Она ошибалась: врожденная чувственность ее младшего сына от такого чтения обострилась, но у него развился и более здоровый интерес к необычным, редким по своим достоинствам произведениям, которые впоследствии подсказали ему сюжеты некоторых его романов и пьес.

Все три брата – Абель, Эжен и Виктор – сочиняли стихи. Виктор исписывал стихами целые тетрадки, его поэтические вкусы, вполне естественно, склонялись к классическим размерам. «Разумеется, стихи его были мало похожи на стихи, – рифмы не рифмовались, слоги не складывались в стопы, ребенок без посторонней помощи искал пути в области просодии, читал вслух написанное и, видя, что дело не клеится, зачеркивал, писал заново, переворачивал, исправлял до тех пор, пока стихи уже не царапали слух. Ощупью продвигаясь вперед, он самостоятельно узнал, что такое размер, цезура, рифма, перекрестное чередование мужских и женских рифм...»

Госпожа Гюго без труда царила над умами своих сыновей. Она требовала и достигала почтительного и полного повиновения с их стороны. «Строгая и сдержанная нежность, постоянная, непререкаемая дисциплина, очень мало фамильярности, никакого мистицизма, содержательные, поучительные беседы, более серьезные, чем обычные разговоры с детьми, – таковы были основные черты ее глубокой, самоотверженной, бдительной материнской любви...» Госпоже Гюго отличала властность мужского склада. В романе с Лагори она больше, чем он, была занята политическими страстями. В 1812 году она упорно стремилась сделать его заговорщиком. Возвратившись из Испании, она увиделась с ним в приемной Венсенской тюрьмы. Он сгорбился, исхудал, пожелтел, челюсти его судорожно сжимались. С ним обращались теперь лучше, чем вначале. Платье и белье ему починили, а главное, разрешили иметь при себе любимые его книги: Вергилия, Горация, Саллюстия, ряд работ по математике, химии и военному делу. До свидания с Софи он как будто смирился со своей участью, и Савари говорил, что его только выпшлют из Франции: изгнание – это милосердие тиранов. Вмешательство женщины сильного характера все изменило.

С апреля 1812 года она вошла в сношения с аббатом Лафоном, стремившимся объединить роялистов и республиканцев в широком заговоре против императора. Софи добилась (через директора полиции, однокашника Лагори по лицею Людовика Великого), чтобы узника перевели в тюрьму Ла-Форс, где режим был таким мягким, что заключенным позволялось принимать посетителей и даже угощать их обедом. Затем Софи Гюго вошла в сношение

с генералом Мале, «легкомысленным республиканцем», который клялся и божился Брутом и Леонидом, но соглашался порадовать установлению власти «доброго и справедливого» короля. Наполеон был в России. Чего легче, как пустить слух о его смерти и создать временное правительство?

Лагори не доверял Мале, считая его сумасбродом. «Тут нужен мудрый человек, – говорил он, – а нам дают фанфарона». Разочарованный узник читал Саллюстия, восхищался энергией Катилины, но думал: «Какое безумие затеяли! Лишь только узнают, что известие ложное, все рухнет». Софи, натура страстная, видела впереди только желанные ей результаты: подлый Савари арестован, связан; тиран побежден, свобода восстановлена. Утром 23 апреля 1812 года Мале, надев мундир, явился в тюрьму и сообщил смотрителю о смерти императора; смотритель поверил и освободил Лагори. С отрядом солдат тот направился в министерство полиции и арестовал Савари, герцога де Равиго. Софи побежала к своему другу Пьеру Фуше, состоявшему в то время чиновником военного министерства; через своего шурина, господина Асселина, секретаря военного совета, он, конечно, был в курсе военных новостей! Очень скоро Софи узнала, что известие о смерти императора опровергнуто, все заговорщики арестованы и уже готовится суд над ними. Госпожа Гюго возвратилась на улицу Фельянтинок, где ее ждали сыновья, безумно встревоженные долгим отсутствием матери и напуганные слухами о государственном перевороте. «Ничего, – сказала она им, – никогда не нужно тревожиться. И тем более не надо плакать».

Для того чтобы следить, как разворачивается процесс, эта стоическая женщина отправилась в квартиру Фуше, все еще проживавшего на улице Шерш-Миди, в здании, занятом военным советом. Ту комнату, где ждала Софи Гюго, отделял от зала заседания военного совета только коридор. Все время офицеры приносили известия. На вопрос председателя суда, требовавшего, чтобы Мале сказал, кто его сообщники, тот будто бы ответил: «Вся Франция, сударь, и вы сами, если б я достиг успеха...» Когда Софи передали этот ответ, она повторила с жаром: «О да! Вся Франция!» В два часа ночи Пьер Фуше, «чистенький и боязливый, как мышка», сообщил, что вынесено двенадцать смертных приговоров. Софи спросила: «Сегодня приведут в исполнение?» – «Да, в четыре часа, в долине Гренель». Узнав от Фуше, какой дорогой проедут телеги с телами казненных, она дождалась их у заставы и проводила до общей могилы единственного человека, которого любила в своей жизни.

В 1813 году генерал Гюго, после поражения Жозефа Бонапарта в Испании, возвратился во Францию. В сентябре он уже был в По вместе с сыном Абелем и той, которую госпожа Гюго называла то «девица Тома», то «мнимая графиня де Салькано».

### ***Госпожа Гюго – своему сыну Абелю, 24 сентября 1813 года***

Полагаю, что отцу не вздумается запретить тебе переписываться со мной, этому не было бы оправдания, как и многому другому в его поведении, и тогда твоим долгом было бы не подчиниться запрещению: так же как и твои братья должны были бы не подчиниться мне, если б я, позабыв священные права природы, запретила им переписываться с отцом. Если такое запрещение будет наложено, то, во избежание всяких неприятностей и споров, которые страсти, ослепляющие твоего отца, вызвали бы между вами, пиши мне без его ведома. Вижу, бедный друг мой, сколько тебе приходится страдать из-за этой женщины. Часто я плакала над твоей участью и даже над участью твоего несчастного отца, – ведь если он причиняет нам много зла, то себе самому он причиняет его еще больше. Будем надеяться, Абель, что настанут лучшие времена и, главное, что наши общие с ним несчастья послужат тебе

уроком. Смотри, до чего могут довести необузданные страсти и отсутствие принципов...

Леопольд Сигисбер Гюго – в Испании генерал – во Франции по-прежнему был лишь командиром батальона. Пенсия, обещанная его жене, не выплачивалась; Лагори не мог прийти на помощь своей подруге – его уже не было в живых. «Покончено было со всякими роскошествами». Парижский муниципалитет экспроприировал сад фельянтинок для удлинения Ульмской улицы, и Софи Гюго переселилась в дом № 2 по улице Вьей-Тюильри<sup>12</sup> по соседству с семейством Фуше, чтобы можно было пользоваться садом, имевшимся при их особняке. Фуше остались верными ее друзьями. Еще живя на улице Фельянтинок, Виктор Гюго вновь встретился с Аделью Фуше; они уже не были детьми. Мечтательный и страстный мальчик, он, как ему казалось, увидел в Адели Пепиту из Мадрида: тот же облик инфанты, такие же большие темные глаза и золотистый загар. Им сказали, чтобы они побегали, поиграли; они же, беседуя, прогуливались по саду. Они шли медленно, говорили тихо, руки их вздрагивали, соприкасаясь. Девочка стала девушкой.

Ребяческая фантазия пришла ей в голову. Пепа стала Пепитой. Она сказала мне: «Побежим наперегонки!» – и помчалась вперед; я видел ее тоненькую осиную талию, ее маленькие ножки, мелькавшие из-под платья. Я догонял ее, она убегала; от быстрого бега порою ветер вздувал ее черную пелеринку, обнажая ее смуглую юную спину.

Я себя не помнил. Настигнув беглянку у старого развалившегося колодца, я, по праву победителя, обнял ее за талию и усадил на дерновую скамью; она не сопротивлялась. Она смеялась, едва переводя дух. Но мне было не до смеху, я смотрел в ее глаза; под длинными густыми ресницами зрачки их были такими большими, черными.

– Садитесь рядом, – сказала она. – Еще совсем светло, давайте почитаем. У вас есть какая-нибудь книга?

У меня был при себе второй том «Путешествий» Спаланцани. Я раскрыл его наугад, придвинулся к ней, она оперлась плечом о мое плечо, и мы стали читать вместе, но каждый про себя. Прежде чем перевернуть страницу, ей приходилось подождать меня. Читала она проворнее моего. «Вы кончили?» – спрашивала она, когда я только еще начинал.

Головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание сблизилось, и вдруг сблизилась губы... Когда мы решили продолжить чтение, на небе уже светили звезды.

– Ах, мамочка, мамочка, – сказала она, возвратившись, – если б ты знала, как мы бежали!

Я же ничего не сказал.

– Ты что молчишь? – спросила мама. – И ты какой-то печальный.

А у меня в сердце был рай. Этот вечер я буду помнить всю жизнь.

Всю жизнь...<sup>13</sup>

Любовь их оставалась целомудренной, очень чистой. Адель Фуше была девушка набожная и добродетельная. Мать не отходила от нее. Всюду она появлялась со своим грудным младенцем (малышкой Полем) на руках, а рядом с ней шла Адель. Каждый вечер мать расчесывала прекрасные черные косы своей девочки и «осыпала их бесконечными поцелуями». Госпожа Фуше, превосходная хозяйка, старалась приучить Адель к домашним работам. В шесть лет

---

<sup>12</sup> Ныне улица Шерш-Миди. – *Примеч. автора.*

<sup>13</sup> *Виктор Гюго. Последний день приговоренного к смерти.*

девочка уже могла собрать и сшить вместе полотнища скроенного платья. Соседка, госпожа Делон, давала ей метить белье своего сына. Супруги Фуше побаивались чрезмерного любопытства этой особы, и, когда отец приносил домой свое месячное жалованье, дверь запирали, чтобы госпожа Делон не слышала звона пятифранковых монет. Несмотря на все превратности, семейство Фуше жило обычной жизнью мелких французских буржуа, людей скрытных, посредственных, степенных и добродетельных семьянинов.

Генерала Гюго по его ходатайству вновь приняли во французскую армию. 9 января 1814 года он получил назначение на пост коменданта Тионвиля. Он храбро защищал крепость во время наступления войск коалиции и капитулировал лишь после того, как узнал об отречении Наполеона.

Абель переехал к матери, в Париж. Она гордилась сыном, красивым широкоплечим юношей, и, при всем своем безденежье, все-таки заказала ему нарядный костюм – зеленый фрак лувьерского сукна, светло-серые казимировые панталоны и редингот из легкого драпа с искрой. Вскоре русские и пруссаки заняли столицу. Часть населения Франции считала их освободителями и называла «союзниками», а не «врагами». Госпожа Гюго выражала великую радость при Реставрации Бурбонов. Ее роялизм носил перемежающийся характер. Пока ее муж нуждался в Бонапарте, она воздерживалась от проявления своих чувств. К тому же Лагори был скорее республиканцем, чем монархистом. Но после казни ее друга в ней разгорелась ненависть к узурпатору. Она не признавала за ним ни малейшей гениальности, вспомнила, что она дочь Вандеи, не пропускала ни одного публичного празднества в честь Бурбонов, появлялась там всегда одетая в белый перкаль, носила зеленые туфли, «чтобы на каждом шагу попираť цвета наполеоновской империи». Сыновья, глубоко почитавшие мать, разделяли ее взгляды. У Тацита они научились ненавидеть цезарей, и Виктор Гюго теперь называл Наполеона не иначе как Буонапарте – по примеру матери и ее друзей Фуше. Он с гордостью отправился в собор Парижской Богоматери на благодарственную мессу, тем более что шел он туда под руку с Аделью.

Генерал Гюго оставался в Тионвиле до мая 1814 года. В письме к королю он заверил его в своей преданности, полагая, что «воин должен быть верен своей родине», каково бы ни было ее правительство (принцип благородный и вместе с тем удобный). Его жена совершила в сопровождении Абеля путешествие в Тионвиль, чтобы потребовать свою пенсию. В отсутствие матери Эжен и Виктор все свободные часы проводили в доме Фуше.

### *Графине Гюго, в Тионвиль, 23 мая 1814 года*

Дорогая мама, без тебя всем скучно. Мы часто ходим к господину Фуше, как ты нам советовала. Он предложил нам, чтобы мы с его сыновьями брали уроки у их учителей; мы поблагодарили его. Каждое утро мы занимаемся латынью и математикой... Господин Фуше был так любезен, что водил нас в музей. Возвращайся поскорее. Без тебя мы не знаем, что говорить и что делать, совсем растерялись. Все время думаем о тебе. Mamoucha! Mama!

*Твой почтительный сын*

*Виктор*

В апартаментах генерала и коменданта крепости графиня Гюго столкнулась с девицей Тома, державшей себя там полновластной хозяйкой, теперь она выдавала себя за *госпожу Анакле д'Альмет* (или д'Альме), вдову полковника. Софи Гюго, которую муж называл уже не иначе как «мадам *Требюше*», стелили постель в передней, тогда как госпожа д'Альме и генерал запирались на ключ в спальне. Законная жена подала прошение в суд, требуя восстановления ее в супружеских правах и постоянной пенсии. Генерал снял на имя своей любовницы замок

Гюс под Тионвилем и ответил жене заявлением в суд о разводе. Кроткий и осторожный Пьер Фуше перепугался, что его друзьям повредит шумный процесс, в котором появится окровавленная тень Лагори. Он прислал генералу два письма, настойчиво уговаривал отца избежать скандала, который запятнает его детей.

***Генерал Гюго – своей сестре, госпоже  
Мартен-Шопин, 14 июля 1814 года***

Госпожа Требюше 4 июля подала на меня в суд, добываясь аванса в три тысячи франков в счет пенсии, а я 11-го числа подал прошение о разводе с нею. Через день, 13 июля, она исчезла неизвестно куда. Требуя с меня три тысячи франков, она воображала, будто я не знаю, что она недавно взяла четыре тысячи у господина Ансо. Эта женщина просто ненасытна, всё подавай ей деньги. Ты говоришь об общности имущества, как будто с госпожой Требюше, вытворяющей все, что ей вздумается, устраивающей сцены, если ей противоречат, возможно вести себя как с какой-нибудь другой женщиной. Фуше написал мне от имени этого демона, и я ответил, что соглашусь заменить прошение о разводе прошением о раздельном жительстве и раздельном владении имуществом, но на тех условиях, какие я ей поставил. Что касается совета жить с нею совместно, ты хорошо знаешь, что это невозможно! Никогда еще она не была мне так противна...

Под влиянием любовницы и воспоминаний о старых обидах первоначальное несходство характеров супругов обратилось у мужа в ненависть. Генерал Гюго пожелал отнять своих сыновей у ненавистной жены; он уже приказал сестре забрать их от супругов Фуше, а в сентябре 1814 года, приехав в Париж, воспользовался правом, которое давала ему отцовская власть, и отдал обоих мальчиков в пансион Кордые и Декотта, помещавшийся «на темной, мрачной улице Святой Маргариты в закоулке, стиснутом между оградой тюрьмы Аббатства и домами переулка Драгон». В марте 1815 года, когда он вновь назначен был в Тионвиль, чтобы во второй раз защищать крепость от вражеского нашествия, он свою власть над детьми передал не матери, а своей сварливой сестре, вдове Мартен-Шопин: «Доверяю тебе заботы о двух младших моих сыновьях, помещенных в пансион господина Кордые, и требую, чтобы ни под каким предлогом они не были возвращены матери или отданы под ее надзор...»

Оба мальчика тотчас подняли открытый бунт против госпожи Мартен-Шопин. Они не желали именовать ее «тетушка», а называли «сударыня»; с чисто кастильским достоинством они жаловались на ее «неприличную грубость», на ее «низкие оскорбления» и «отвратительные сцены», которые она им устраивала. Оба сына оставались всецело верны матери, хоть их и разлучили с ней.

Моя святая мать, примером чистоты  
Была ты для меня... И... не со мною ты!..  
Ты больше не со мной!.. О чуткие сердца,  
Лишь вы мою печаль поймете до конца!..

Оба судили об отце с почтительной суровостью, порицая его сожительство с любовницей, а он называл их «мятежными бандитами».

**Генерал Гюго – сестре, госпоже  
Мартен-Шопин, 16 октября 1815 года**

По-видимому, эти господа считают позорным для себя называть тебя тетушкой и выражать в письмах к тебе привязанность и почтение. Вот оно, влияние негодницы-матери...

...Какое зло  
Мне причинил отец! И детство вдруг ушло...  
Я прошлое зову – и тишина в ответ.  
Для горя моего иной дороги нет:  
Мечтать, бежать в леса и верить в чудеса...<sup>14</sup>

Действительно, пансион, похожий на тюрьму, и отец, ставший тюремщиком, – это было концом детства. Несмотря на всякие превратности, несмотря на раздоры родителей, которые, подобно черной туче, омрачали детские годы Виктора Гюго, они были поэтичны и прекрасны. Густолиственный и таинственный сад фельянтинок; тенистый овраг в итальянской провинции Авеллино; огни бивуачных костров; раззолоченные галереи дворца Массерано в стиле барокко; очаровательные видения женщин-девочек, незнакомка в Байонне, Адель, Пепита и в качестве яркого фона – победы Франции, сверкание кирас и бой барабанов. Какие чудесные декорации для мечтаний!

И как много досуга для мечты – при таком беспорядочном воспитании! Все соединилось для того, чтобы в течение тринадцати лет юный ум не знал принуждения и условностей, установленных правил воспитания. Частые переезды не позволяли детям генерала Гюго учиться в школе, переходя, как обычно это делается, из класса в класс; нелюдимый нрав матери, тосковавшей по родным краям, отпугивал от нее светское общество; благородная и опасная, тайная дружба с Лагори воздвигла вокруг нее самой ограду молчания; удивительное уважение, с которым относилась к книгам и к поэзии госпожа Гюго, эта маленькая буржуазка, «неизменно снисходительная к своим сыновьям при внешней ее суровости», благоприятствовало развитию их природных дарований. Как и все дети этих героических времен, Виктор Гюго в глубине «души тревожной» мечтал о военной славе. Затем разрыв между родителями, падение Империи направили его желания в другую сторону. Но к чему бы он ни стремился, он всегда мечтал о великом. *«Когда я маленьким ребенком был, великое я видел пред собою»*. Бессознательный соперник своего отца и Наполеона, которыми мальчик вопреки своей воле восхищался, он тоже хотел пленять воображение людей. Но как? Он этого пока не знал, он только еще «вступал в страну мечтаний»:

После долгих скитаний вернувшись неожиданно,  
Возникал я, как луч из густого тумана.  
Я мечтал, что источник найду колдовской,  
Где вода все журчит и журчит неустанно,  
Опьяняет и дарит покой.

В пылком сердце бывшее опять оживало,  
На губах моих тихая песня блуждала,

---

<sup>14</sup> Виктор Гюго. Отцовство («Легенда веков»).

И я шел, материнской любовью храним.  
И сквозь слезы, с улыбкою мать повторяла:  
«Это фея беседует с ним!»<sup>15</sup>

Редко встречаются такие противоречивые натуры. В нем боролись чувственный темперамент отца, его пылкое воображение, любившее все необыкновенное, и суровый стоицизм матери; вкус к классике, жажда славы и ненависть к тирании; тяга к возвышенной поэзии, всегда несколько безумной, и уважение к буржуазным добродетелям, безотчетно дорогим для него, ибо он страдал, чувствуя, как их оскорбляют его близкие. Душа, сотканная из контрастов. Если когда-либо жизнь, словно нарочно, с самого детства формировала писателя для того, чтобы он выражал в своем творчестве прекрасные и новые антитезы, то таким писателем был именно он, Виктор Гюго. Нам хотелось уловить, каков был его душевный склад в ранние годы, когда индивидуальность человека только еще зарождается. «Не во дворце, который блеск жемчужины усилит, зарождается она – она возникает под толщей колонии полипов, в морских пучинах глубиной в сотни лье...» Мы с вами погрузились в глубокие воды волшебных источников детства великого поэта, в едва освещенных безднах увидели мрачные обломки, зеленоватые щупальца кошмаров, но видели также белоснежных сирен, затонувшие соборы, затопленные дворцы прекрасных древних городов Андалузии. «Лучшая часть гениальности складывается из воспоминаний». Именно из них на наших глазах создаются перламутровые, лучезарные, неподражаемые, изменчивые переливы, которые превращают крупицу материи в жемчужину, а человека в гения.

---

<sup>15</sup> Виктор Гюго. Мое детство («Оды и баллады»).

## Часть вторая Огни рассвета

*Огни рассвета не столь сладостны, как первые лучи славы.*  
**Вовенарг**

### I Птицы в клетке

После райского сада фелъянтинок и каштанов вокруг Тулузского подворья пансион Декотта и Кордые, унылый, без всякой зелени, показался сыновьям Софи Гюго мрачным чистилищем. Кордые, священник-расстрига, больной и раздражительный старик, носивший из любви к Руссо широкий плащ и высокую шапку, похожий в ней на армянина, колотил учеников по головам своей металлической табакеркой; Эмманюэль де Котт, ставший просто Декоттом, изводил их всяческими наказаниями и отпирал отмычкой ящики их тумбочек. Эжен и Виктор, мятежные ангелы, не склонны были сносить унижения. Генерал Гюго писал 7 августа 1817 года своей сестре Мартен-Шопин: «Я считаю, что они погибли, если останутся под плачевным влиянием матери. С тобой они ведут себя так же, как обычно, но по отношению к господину де Котту они позволяют себе ужасные грубости! Подумай только – они едва не подняли руку на директора пансиона!..»

Братья сразу же приобрели престиж в глазах товарищей, так как отец потребовал, чтобы их поместили в отдельной комнате. Пансион разделился на два лагеря: в одном царил Виктор, в другом – Эжен. Вечером два соперничающих властелина встречались в своей комнате и вели переговоры. Они напоминали тогда братьев Бонапарт, деливших между собой Европу, и, вероятно, им самим приходила такая мысль. Оба мальчика впитали чуть ли не с молоком матери преклонение перед доблестью древних римлян, оба росли под сенью наполеоновских побед и проявляли сильную жажду славы. В пансионе Кордые братья организовали театральные представления. Виктор сочинял пьесы и играл в них роль Наполеона, окруженного маршалами, блиставшими орденами из золотой бумаги. Но так было только в театре, а в жизни их политические страсти не изменились: ненависть к Революции, ужас перед *Буонапарте* и любовь к Бурбонам, которые, как Виктор воображал, принесли Франции вместе с Хартией свободу.

В этом их убеждала мать, а ведь она оставалась кумиром всех сыновей. Зато своей тетушке, госпоже Мартен-Шопин, и даже отцу они противились с невероятной решительностью и достоинством. Генерала Гюго после Реставрации уволили в отставку с половинным окладом пенсии, и он удалился в Блуа с госпожой Альме, «графиней де Салькано», иначе говоря – с девицей Тома, всемогущей его властительницей. «Мерзкая вдова Мартен-Шопин» весьма скудно снабжала племянников карманными деньгами и передавала им распоряжения отца. Генерал хотел, чтобы его сыновья поступили в Политехническое училище, и требовал, чтобы они для подготовки к экзаменам усиленно занимались математикой и черчением; учтиво, но твердо мальчики попросили его дать им возможность выполнить это требование.

**Виктор Гюго – отцу, 22 июня 1816 года**

Госпожа Мартен целый месяц не соблаговолила спросить, в чем мы нуждаемся, и уже два месяца как перестала выдавать мне и Эжену обещанные

два су в день; да еще весьма предусмотрительно сообщила нам о таком решении лишь 1 июня. Когда мы ей вежливо доложили, что, рассчитывая на эти деньги, сделали заем на необходимые свои расходы – на то, чтобы платить за стулья в церкви, точить перочинные ножи, переплести книги, покупать чертежные принадлежности, – она ответила, что не желает нас слушать, и властным тоном приказала нам выйти из комнаты. Больше ей не удастся это сделать, дорогой папа. Мы лучше откажемся от воскресных отпусков, но впредь не будем иметь с ней никаких отношений. Если ты все-таки хочешь, чтобы мы расплатились с долгами и не сидели без гроша, просим тебя передавать нам деньги через кого-нибудь другого, удобнее всего через Абея...

### *12 ноября 1816 года*

Мы обдумали твои предложения; позволь нам говорить с тобой так же откровенно, как мы говорили раньше, и ответь нам лишь после того, как взвесишь наши соображения. Видя, что мы в состоянии судить о цене вещей, ты предлагаешь нам двадцать пять луидоров в год на наше содержание. Мы согласны, лишь бы эти деньги нам выдавали в собственные руки. Мы уверены, что при том опыте, который у нас уже имеется, а главное, с помощью мамы и при ее советах – а она, что ни говори, умеет экономить – этой скромной суммы хватит на наше содержание, и оно будет более приличным, чем было до сих пор, хотя наверняка обходилось тебе дороже. Но если деньги будут нам направлять через чужие руки, такой уверенности мы не можем иметь, так как не сумеем воспользоваться средствами, обеспечивающими нас. Мы уже не в силах будем следовать твоему примеру: *соразмерять расходы со своим достатком и быть довольными своим положением, тем более что оно приучит нас к порядку и бережливости...* Конец твоего письма нас огорчил – не можем скрывать от тебя, как нам было тяжело, что ты нашу маму называешь негодницей, да еще в открытом письме, – ведь его распечатали и отдали нам только после прочтения... Мы видели твою переписку с мамой. Что ты сделал бы в те времена, когда познакомился с ней и когда находил счастье близ нее, что ты сделал бы с тем, кто посмел бы говорить о ней подобным языком? А она все такая же и всегда была такой, и мы всегда будем думать о ней так же, как ты раньше думал о ней. Вот какие чувства твое письмо породило в нас. Поразмысли, пожалуйста, над нашим письмом и будь уверен в любви, которую питают к тебе твои покорные и почтительные сыновья.

*Э. Гюго – В. Гюго*

В этом письме видны и зрелость ума, и энергия стиля. В нем нет повторений, выразительность не ослабевает от начала до конца. Кто был вдохновителем коллективного послания братьев? Оно написано почерком Эжена, но это не имеет большого значения. Оба брата получили одинаковое воспитание, были учениками своей матери, оба испытали влияние классиков, оба стремились к поэтическому творчеству. Время, которое они могли урывать от занятий математикой, они проводили за сочинением стихов. Переводы Вергилия и Лукреция, элегии, эпиграммы, песни, трагедии – все увлекало их.

По правде говоря, Франция тогда усердно занималась версификацией, сочиняла стихи. Даже пансион мальчиков изобиловал поэтами. Сам угрюмый Декотт кропал вирши и вскоре стал завидовать двум юным гениям, явившимся среди его учеников. Молодой классный настав-

ник Феликс Бискара́, умный человек с рябоватым, но веселым и открытым лицом, любил Эжена и Виктора Гюго, а еще больше – мадемуазель Розали, бельевщицу пансиона, в честь которой он создавал оды. Однажды Бискара повел братьев Гюго, своих любимцев, на верхние площадки башен собора Парижской Богоматери, Виктор Гюго поднимался по ступенькам лестницы позади мадемуазель Розали и смотрел на ее ноги.

Было естественным, что в том возрасте, *«когда все Керубино по улицам бродят, стараясь в окошки бань заглянуть»*, подростка, унаследовавшего огромный темперамент отца, да еще начитавшегося эротических стихов Горация и Марциала, преследуют мысли о женском теле. Для Виктора было никогда не ослабевающей радостью увидеть нечаянно обнажившееся плечо, грудь, стройную ножку. Подобно фавну или иному лесному божеству, он будет в дальнейшем подстерегать в лесах красивых девушек-дикарок и прачек у ручьев. Бедным студентом он из своей мансарды высматривал в соседнем окне или «сквозь щели в чердаке» какую-нибудь служанку, раздевающуюся перед сном.

В семнадцать лет мне снилась Геба —  
Прекрасная гризетка неба;  
Олимп или мансарда – все одно:  
Подвязка сброшена, плечо обнажено<sup>16</sup>.

Всю жизнь это будет лейтмотивом многих его стихов. Слишком целомудренная юность создала нераскаянного грешника.

Для генеральши графини Люкотт, «хорошенькой женщины, имевшей большой успех в свете и множество поклонников» – братья Гюго знали ее еще по Мадриду, а в Париже жили в одном с нею доме, – Виктор сочинял почтительные мадригалы:

Я слушаю... Но все ж могла бы лира эта  
В такой чудесный день решиться и посметь  
Твою любовь ко мне воспеть.  
– Судить не торопись, начни читать поэта!  
Любовью сердце стеснено,  
Тобой одной оно согрето!  
Но то, чем полнится оно,  
Земною лирою не может быть воспето!<sup>17</sup>

Концовка была галантной, все написано очень ловко, с чисто вольтеровским изяществом. Но кто бы ни писал стихи в пансионе Декотта и Кордье, сам директор или классный наставник, Эжен или Виктор Гюго, тысячи рифмованных строк, рождавшихся у них из-под пера, были довольно плоскими. То было время заката прежнего направления в поэзии. Делиля и Парни все еще считали великими поэтами. Французская академия избирала их учеников в число «бессмертных». Язык был упорядочен, отлакирован, застыл в величественной неподвижности. Слова были разделены на благородные и простонародные. Любой экипаж именовался *колесницей*, щеки – *ланидами*, ветер называли *аквилоном*, воду в реке – *речной волной*, лошадь – *скакуном*, королей – *монархами*, шпагу – *мечом*, поэта – *нежным любовником девяти сестер*. Большинство простых терминов было изгнано. Слово «лодочник» стало запретным, несчастному писателю предоставлялось выбирать между кормчим и перевозчиком. Ребяческие и вместе с тем старческие вкусы требовали, чтобы поэзия была полна холодных безумств, ханже-

<sup>16</sup> Виктор Гюго. LIV («Океан»).

<sup>17</sup> Перевод М. Ваксмахера.

ского дидактизма или банальной галантности. Братьям Гюго, как и всем рифмоплетам той поры, оставалось только следовать установленным образцам.

Однако Виктор уже и в то время проявлял природное стремление к музыкальности стиха, гибкости строфы, инстинктивное ощущение стиля и поэтому чувствовал в произведениях Горация и Вергилия красоты, исчезающие в перифразах какого-нибудь Делиля. Бискара, проверяя переводы своего любимого ученика, говорил удивленно: «В этих стихах такая яркая палитра, какую я не нахожу ни у одного поэта». Он хвалил строку: «*Упиваться резней и разбрызгивать кровь*» – или такую: «*И с хрустом алчные клыки их кости разгрызали*».

Дидона бедная, ты жертвою своих мужей была:  
Сихей почил – и ты ушла, ушел Эней – ты умерла.

Это двустигшие блестяще передает Авзония. А другое, в конце первой «Буколики», сохраняет изящество оригинала:

Течет над кровлями дымок и рвется на простор,  
И тени, становясь длинней, нисходят с этих гор.

Вергилий отвечал двум потребностям этого ребенка – тяготению к таинственности и к ясному, четкому, отточенному слогу. Прочтя поэму в пятьсот строк о Всемирном потопе, Бискара нашел, что в ней тридцать две строки хороших, пятнадцать – очень хороших, пять строк – посредственных. Сам Виктор был более требователен и каждый год сжигал тетрадь со своими поэтическими опытами – убогие тетрадки, сшитые им собственноручно с помощью бечевочки, завязанной узелком; ведь он получал только два су в день на свои расходы и тратить на покупки надо было с осторожностью. Стихи своих детских лет он начал сохранять только с одиннадцатой тетради. Скромный и усердный труженик, он сам смиренно добивался критических замечаний. Горделивый Эжен, наоборот, любил похвастаться своим дарованием. Оба воздавали честь в своих стихах любимой матери, которая не имела разрешения брать сыновей к себе и сама навещала их в пансионе. Во всех своих трудах и успехах «сыновья думали только о том, какое удовольствие они доставят маме». В четырнадцать лет Виктор посвятил ей трагедию в стихах – «Ирмамена»:

Мама, видишь стихи неумелые эти?  
Ты сурово на них не смотри.  
Я твой сын, а они – мои робкие дети,  
Ты улыбкою их одари!  
Эти строки не розы Расина,  
Что бессмертную славу ему принесли;  
Как цветы полевые, невинно,  
Эти строки для мамы моей расцвели.

То и дело повторявшееся наивное, детское слово «мама» показывало, что сердце юного поэта всецело принадлежало матери. «Ирмамена» – это подражание Расину или скорее Вольтеру, но стих поражает своей непринужденностью и гибкостью. Сюжетом трагедии была, разумеется, победа законного повелителя над узурпатором. «Когда тиранов ненавидим, любить должны мы королей», – провозгласил в заключение автор. Иначе говоря, кто ненавидел Бонапарта, должен любить Людовика XVIII. В тетради «Разные стихи» (1816–1817) имеется запись, датированная сентябрем 1817 года: «Мне пятнадцать лет, написано плохо, я мог бы написать лучше», а на другом листке: «Глупости, сотворенные мною до моего рождения». Верно, эти

стихи не назовешь шедеврами, но верно и то, что от юноши, способного на такой упорный, неослабный труд и такие блестящие удачи, можно было всего ожидать.

Сохранившиеся тетради содержат тысячи стихотворных строк: тут и целая комическая опера, и мелодрама, написанная прозой, – «Инес де Кастро», и набросок пятиактной трагедии в стихах «Ателия, или Скандинавы», и эпическая поэма «Всемирный потоп»; ко всем произведениям имелись иллюстрации в виде рисунков на полях, причем некоторые из них смелостью игры света и тени напоминают рисунки Рембрандта. Надо добавить, что в то же самое время Виктор готовился к вступительным экзаменам в Политехническое училище, что у него были хорошие отметки по математике и что с конца 1816 года он вместе с Эженом, который был старше его на два года, занимался в коллеже Людовика Великого – с восьми часов утра до пяти часов вечера. Писать стихи он мог, только отнимая часы от сна и работая при свече в своей чердачной каморке, представлявшей собою в июне раскаленную печь, а в декабре – ледник, каморке, из окна которой открывается вид на башни собора Сен-Сюльпис, приспособленные в то время для оптического телеграфа. Однажды Виктор, повредив себе колено, вынужден был несколько недель пролежать в постели, и это позволило ему еще больше отдаться любимому делу. Феликс Бискара, славный человек, беспокоился: «С грустью замечаю, что здоровье ваше ухудшилось; так же, как и вы, полагаю, что причина тому – ваши бессонные ночи. Во имя всего святого, во имя нашей с вами дружбы, поберегите себя...» Но ведь «своя ноша не тянет», любимый труд не утомляет.

*Тысяча восемьсот семнадцатый год.* «Французскую армию одели в белые мундиры, на австрийский лад... Наполеона сослали на остров Святой Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он приказывал перелицовывать свои старые сюртуки... В морском министерстве повели расследование по поводу крушения фрегата „Медуза“... Большие газеты стали совсем маленькими... Разводы были запрещены. Лицеи назывались теперь коллежами... Шатобриан каждое утро вставал перед окном своей спальни в доме № 27 по улице Сен-Доминик в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, в пестрой шелковой повязке на седой голове и, устремив глаза в зеркало, раскрыв перед собой шкатулку с полным набором инструментов дантиста, осматривал свои прекрасные зубы, в то же время обдумывая варианты „Монархии согласно Хартии“, которые он затем диктовал своему секретарю, господину Пилоржу...»<sup>18</sup> Французская академия объявила конкурс стихотворных произведений, предложив для него следующую тему: «*Счастье, которое при всех обстоятельствах жизни дает человеку учение*». Виктор Гюго сказал себе: «А что, если попробовать?...» Для него задумать – значило и выполнить задуманное. Он сочинил 334 строки:

С Вергилием в руках, один в глуши лесной...  
Люблю я тишину и ветви надо мной,  
Люблю я здесь бродить, следить игру теней,  
Дидону вспоминать и горевать над ней...

Оригинально это? Нисколько. Поэт пожертвовал собственными вкусами в угоду обветшалому классицизму академиков, который, впрочем, почитала и госпожа Гюго. Правильно сложенные, аккуратно построенные стихи выражали искреннее чувство юноши, который, изучая Цицерона или Демосфена, мечтает последовать их примеру, а потом открывает, что его герои кончили жизнь в немилоści.

Герои, вы ушли... а я – всего лишь я!

<sup>18</sup> Виктор Гюго. Отверженные.

Ну что ж... я одиночество постиг —  
Наедине с собой, среди любимых книг...

Поэма написана, но еще надо отдать ее в канцелярию Академии. Однако воспитанники пансиона Кордье жили как в тюрьме. Виктор Гюго открылся Феликсу Бискара, который водил пансионеров на прогулки, и этот славный малый повел колонну учеников к дворцу Мазарини. Пока они разглядывали купол и каменных львов, классный наставник и его подопечный помчались в канцелярию Академии и вручили поэму швейцару в скуфейке. Выйдя на улицу, они наткнулись на Абеля, старшего брата, который и по возрасту, и как любимец отца пользовался большей свободой. Пришлось во всем ему признаться. Затем младший брат догнал своих товарищей и вернулся в пансион к задачам по алгебре.

Через несколько недель, когда он бегал на школьном дворе взапуски, туда вдруг явился Абель. «Иди сюда, дурачина!» – позвал он брата. Ведь Абель был уже офицер, а потому обращался с младшими братьями как с детьми и говорил с ними ласково, но покровительственным тоном. Виктор подошел. «Ну что тебя дернуло написать, сколько тебе лет? – спросил Абель. – Академия решила, что ты хотел ее мистифицировать. А не будь этого, ты бы получил премию. Ну и осел ты! Теперь дадут только почетный диплом». Однако мнение Абеля было не совсем верным: премия ускользнула от Виктора Гюго не по этой причине. Произведение его заняло на конкурсе девятое место, и Ренуар, постоянный секретарь Академии, автор трагедии «Тамплиеры», написал в своем докладе: «Если правда, что ему столько лет, Академия должна поощрить юного поэта». Отрывок из поэмы был зачитан на публичном заседании: дамы аплодировали, и Ренуар, которому Виктор Гюго послал свою метрику, ответил письмом, предлагая ему прийти в Академию, причем допустил в этом письме грубую орфографическую ошибку. Впрочем, о Ренуаре говорили, что этот поэт, историк и филолог хорошо знает язык – только не французский, а романский.

Старик Кордье, видя, каким блеском засверкал теперь его пансион, стал вдруг настоящим сахаром-медовичем и разрешил Виктору посетить Академию. Сперва его принял Ренуар, весьма ученый, но грубый человек; он держал себя с мальчиком развязно, и «Виктор острил, что академик знал правила вежливости не лучше, чем правила орфографии»; зато другие академики обласкали его, особенно старейший среди них – Франсуа де Нефшато, который тринадцатилетним подростком получил премию в царствование Людовика XV; тогда Вольтер посвятил его в поэты, написав ему: *«Надо же, чтобы у меня были преемники, и я с удовольствием вижу в вас своего наследника»*. А теперь Нефшато с восторгом видел себя в роли Вольтера. Этот любезный старик был поочередно, как и многие другие, роялистом, якобинцем, министром в годы Директории, графом в наполеоновской Империи. В 1804 году он сказал папе римскому: «Поздравляю вас, ваше святейшество, с тем, что Провидение избрало вас для коронования Наполеона»; в 1816 году он наивно удивлялся, что Людовик XVIII не назначил его пэром Франции. Ривароль так определил его произведения: «Проза, в которую затесались стихи». В ту пору, когда юный Гюго познакомился с Нефшато, тот уже отказался и в жизни и в стихах от всяких эпопей, благоразумно сажал в своем огороде картофель и пытался закрепить за ним нелепое название – «пармантьер». Встреча с этой старой знаменитостью поразила школьника Виктора Гюго; Нефшато рассказывал о 18 брюмера, но говорил при этом только о себе. Тогда мальчику впервые открылась самовлюбленность литераторов.

Газеты заинтересовались чудо-ребенком. В пансионе число его подданных возросло за счет почитателей Эжена, и тот начал завидовать. Неприятно, когда другой опередит тебя, особенно если удачливый соперник моложе тебя. Впрочем, победитель вел себя скромно. Свое первое напечатанное произведение он посвятил своему первому учителю, господину де ла Ривьеру:

Учитель дорогой, принять  
Прошу мой робкий стих – и замираю.  
Ты первый научил, уроки мне давая,  
Мой неокрепший ум свободно направлять.  
Лишь оттого я песни смог слагать  
И лишь тебе их посвящаю<sup>19</sup>.

Стушевываясь перед Феликсом Бискара, тоже поэтом, но не лауреатом, он писал:

Когда тебе венок подарит Аполлон  
И кану в вечность я, в печальный, тихий сон,  
В своих стихах ты вспомнишь про меня...

Однако он скромничал просто из вежливости. В своем дневнике он говорит более искренне. 10 июля 1816 года, когда ему было четырнадцать лет, он писал: *«Хочу быть Шатобрианом или ничем»*. Выбор имени легко понять. С 1789 года Франция, упивавшаяся древнеримской риторикой, стремилась к величию. После Верньо, Демулена, Робеспьера властителем дум молодежи был Бонапарт. С падением Наполеона образовалась пустота, и надо было найти новую пищу для этой жажды славы. В старике-короле с распухшими от подагры ногами не нашлось ничего, способного вызвать восторг; вера в Господа Бога у сыновей-вольтерьянцев отнюдь не была горячей. Молодые левиты, ронявшие слезы умиления на теплые гетры Людовика XVIII, не отличались искренностью. Выросшие «под грохот чудес, свершавшихся императором...», «вскормленные бюллетенями о победах императора», они не забывали то время, когда Франция была владычицей Европы. Но ведь им нужно было найти что-нибудь достойное любви и в Новом времени. И только один Шатобриан был для них поэтической фигурой, связующей настоящее с прошлым. Величие? У кого же было его больше, чем у этого гениального человека с благородными и презрительными манерами, писателя, всегда живописующего себя в борениях с бурями океана и ударами судьбы, украшающего христианство всем очарованием искусства, а монархию – всем престижем верности? После Наполеона юноши тосковали об эффектных позах, а надменное одиночество Шатобриана было эффектным.

Тут Виктор Гюго впервые оказался не согласен с матерью. Его восхищала «Атала», а Софи Гюго, женщину XVIII века, забавляла «А ла-ла», глупая пародия на этот роман. Маловероятно, что Шатобриан знал первые опыты Виктора Гюго. Он редко бывал в Академии, читать же предпочитал древних римлян и греков, в этом он, конечно, был прав. Однако юные братья Гюго со дня знаменитого упоминания поэмы Виктора пребывали в лихорадочном, радостном волнении. Господин Франсуа де Нефшато пригласил Виктора к себе на обед, затем поручил ему навести в Национальной королевской библиотеке некоторые справки о «Жиль Блазе», и Виктор привлек к этим изысканиям Абея, который лучше его знал испанский язык. В пансионе Кордье швейцар получил распоряжение свободно выпускать этого необычайного ученика. В коллеже Людовика Великого, где он проходил курс наук, оставаясь в интернате Кордье, профессор философии Могра, остро слов, либерал, хотя в то время было днем с огнем не сыскать либералов, направляя его в 1817 году на конкурсные экзамены в университет, сказал: «Я рассчитываю на вас. Если уж кто заслужил упоминания Академии, то в университете его, по меньшей мере ждет награда». Виктор не получил никакого отличия на экзамене по философии, где ему пришлось развивать доказательства существования Бога, зато получил похвальный лист по естественным наукам за работу на тему, данную Кювье: «Теория росы». У него были большие способности к естествознанию и математике. «Все мое детство было

---

<sup>19</sup> Перевод Г. Кружкова.

долгим мечтанием, к которому примешивались занятия точными науками... Впрочем, между точным и поэтичным нет никакого несоответствия. Число играет в искусстве такую же роль, как и в науке...

Летние каникулы в 1817 году «были для Виктора сплошным праздником», все друзья поздравляли его с литературными успехами. Абель, видя, что военная карьера закрыта для него, расстался с мундиром и занялся коммерческими делами, продолжая, однако, писать. У него были небольшие деньги, и он организовал ежемесячные литературные вечера, на которых приглашенные, сплошь юноши, должны были читать свои новые произведения. Виктор никогда не пропускал этих вечеров. Эжен, отличавшийся капризным и странным нравом (Феликс Бискара, друг обоих братьев, называл его Бесноватый), в большинстве случаев отказывался от приглашения и запирался у себя в пансионе. Для одного из этих чтений Виктор в три недели набросал повесть «Бюг-Жаргаль» о восстании в Сан-Доминго, поразительную по четкости рассказа, по уменью достигать большого эффекта скупыми средствами и во многих местах не уступающую лучшим новеллам Мериме. Тут открылся прирожденный писатель, уже достигший известного мастерства. Все три брата Гюго мечтали основать совместно литературный еженедельник «Ле Леттр бретон», но двое из них еще учились в школе, да и не находилось издателя для этого журнала.

В течение всего 1817 года продолжалась открытая борьба Эжена и Виктора с их теткой, госпожой Мартен-Шопин. Эта злая фея не позволяла им даже провести у матери день Нового года. Братья писали ей саркастические письма.

### ***21 мая 1817 года***

Сударыня, позвольте напомнить вам, что мы с 1-го числа сидим без денег. Так как наши потребности не уменьшились, мы вынуждены были войти в долги. Посему просим вас прислать шесть франков, кои причитались нам, а именно: три франка – к 1 мая и три франка – к 15 мая; просим также прислать парикмахера и поговорить с госпожой Дежарье относительно нашей обуви и головных уборов. Примите, сударыня, уверения в чувстве почтения и признательности, которые вы заслуживаете с нашей стороны.

*Виктор Гюго, Эжен Гюго*

Абель, который до этого был любимцем генерала, храбро вмешался в конфликт и выступил на защиту братьев.

### ***Абель Гюго – генералу Гюго, 26 августа 1817 года***

Всякий другой гордился бы такими детьми, а ты видишь в них негодяев, озорников, способных опозорить имя, которое ты сделал почтенным своими ратными подвигами... Нет, отец, я знаю тебя – ты написал роковое письмо, но продиктовало его тебе не твое сердце, – ты еще любишь своих детей. Злой гений, исчадие ада, демон, коего ты должен был бы признать виновным в твоих несчастьях, а не наша достойная мать, ослепляет тебя – и ты видишь признаки ненависти там, где должен был бы найти доказательства любви, если бы решился приблизиться к сердцам, нежно любящим тебя... Настанет день, когда ты увидишь в истинном свете адское создание, о котором я говорю, придет час нашего мщения; мы вновь обретем своего отца...

Катрин Тома, или «мадам», как называл ее в своей переписке генерал Гюго, возмущившись письмом Абея, добила, чтобы ее любовник не ответил ему. Пропась, отделявшая отца от трех его сыновей, все ширилась. 3 февраля 1818 года произошло важнейшее событие: суд вынес приговор, утверждавший раздельное жительство супругов Гюго. Дети оставались при «мадам Требюше», и она должна была получать от мужа содержание в сумме трех тысяч франков. Эжен и Виктор пробыли в пансионе до августа. Затем они послали отцу почтительное письмо, в котором просили у него разрешения поступить на юридический факультет, так как юриспруденция – кратчайший путь к прибыльной карьере. 20 июля 1818 года Виктор Гюго писал: «Дорогой папа, ты, конечно, понимаешь, что нам нельзя дольше оставаться у господина Декотта – ведь мы уже закончили курс учения. Просим тебя выдавать нам на наши расходы по восемьсот франков каждому. Хотелось бы попросить меньше, но ты поймешь, конечно, что это для нас невозможно, – ведь ты сейчас даешь нам по триста франков, а когда добавишь пятьсот франков, то просимой суммы лишь при строжайшей экономии хватит нам на расходы по питанию, на покупку книг, плату за правоучение и т. д.»

Генерал проявил щедрость, если учесть, что он сам был в стесненных обстоятельствах: «Я вовсе не нахожу ваши притязания чрезмерными... Поступайте на юридический. Я отдам распоряжение, чтобы вам высылали по восемьсот франков в год, в месячных долях...»

В августе оба брата, ликуя, расстались с пансионом Декотта и Кордье и поселились у матери, в доме № 18 по улице Пти-Огюстен. Квартира их находилась на четвертом этаже и была меньше, чем прежняя, на улице Шерш-Миди, сумма содержания, выплачиваемая отставным генералом с половинным окладом пенсии, не позволяла снять квартиру с садом. Из окна своей комнаты братья Гюго видели двор музея, весь загроможденный гробницами королей Франции, которых Революция изгнала из их усыпальниц в аббатстве Сен-Дени. Сидя друг против друга за маленьким столом, юные поэты целыми днями сочиняли стихи. В шестнадцать лет Виктор Гюго написал стихотворение «Мое прощание с детством»:

Что стало с этою порой?  
Вернее, что со мною стало?  
Я – как безумец, что устало  
И тщетно разум ищет свой...<sup>20</sup>

Он сетовал, что приближается старость, и в утешение себе взывал к славе, постоянному предмету своих мечтаний:

О Слава, гений всемогущий,  
Певцам своим в дали грядущей  
Ты даришь место, возлюбя;  
К тебе – все помыслы и цели;  
Так сделай так, чтобы сумели  
Мои стихи достичь тебя<sup>21</sup>.

Был на свете человек, нисколько не сомневавшийся, что слава придет к поэту: мать крепко верила в великое будущее своего сына.

<sup>20</sup> Виктор Гюго. Оды и баллады. Перевод Г. Кружкова.

<sup>21</sup> Виктор Гюго. Жажда славы («Океан», VI). Перевод Г. Кружкова.

## II

### Первые вздохи

Нет ничего прекраснее веры любящей матери в гениальность своих детей. Госпожа Гюго не принуждала своих сыновей к занятиям юриспруденцией. Ведь изучение права было просто ширмой, скрывающей их от отца. В действительности Эжен и Виктор в течение двух лет, которые они провели на юридическом факультете, хоть и платили за «правоучение», но на лекции не ходили и не сдали ни одного экзамена. Мать, уже гордившаяся будущим триумфом сыновей, не хотела, чтобы они готовились к карьере адвокатов или чиновников, – нет, Софи Гюго мечтала, что они станут великими писателями. Ни больше ни меньше. День за днем она предоставляла им спокойно работать в их комнатухе с окном во двор, населенный статуями королей, возлежащих на своих гробницах. Мать и сыновья выходили после обеда прогуляться, и можно себе представить эту трогательную картину: Софи Гюго, женщина строгого облика, подобная матери Гракхов, одетая в парадное свое платье амарантового цвета, с кашемировой, затканной пальмовым узором шалью на плечах, выступала неторопливо, а по бокам матери двое юношей, любящие и покорные ее сыновья. Каждый вечер они ходили пешком на улицу Шерш-Миди, где в здании Тулузского подворья по-прежнему квартировал Пьер Фуше, хотя теперь он уже был начальником канцелярии в военном министерстве.

Гостей принимала госпожа Фуше, дама набожная, кроткая, моложавая, и ее дочь Адель, похожая красотой на испаночку, – когда-то она была товарищем в детских играх трех братьев Гюго. *Tres para una*<sup>22</sup>. Теперь им не верилось, что десять лет назад они катали эту очаровательную девушку в тачке по дорожкам сада на улице Фельянтинков и раскачивали на качелях. Госпожа Гюго доставала из мешочка рукоделье и принималась за работу, так же как госпожа Фуше и Адель. Фуше, человек худой, аскетического вида, с ермолкой на голове и в люстриновых нарукавниках, садился поближе к свече и рылся в папках с делами. Эжен и Виктор, вышколенные матерью, привыкли молчать, пока к ним не обратятся, но в эти безмолвные вечера, когда слышалось только, как потрескивают дрова, горящие в камине, им совсем не было скучно: они смотрели на Адель, склонявшую головку над шитьем, они не могли наглядеться на «ровные дуги черных бровей, на алые губки и золотистые веки» – ведь оба были в нее влюблены. А она если и посматривала иногда украдкой на одного из них, то, конечно, на Виктора: этот белокурый юноша с волосами до плеч, с высоким лбом, с глубоким и простодушным взглядом, производил впечатление уверенной в себе силы и был уже знаменит в их маленьком мирке. Верный друг, Феликс Бискара, переехавший из Парижа в Нант, почтительно писал своему воспитаннику: «Когда-нибудь вы займете место в ряду лучших наших поэтов. Я как будто слышу Расина», а в другом письме он сказал: «Вы всегда пишете хорошо, но на этот раз вы написали лучше, чем хорошо...» Однако юный поэт знал, что истинную славу трудно завоевать. Он мог бы уже и в этом возрасте писать хорошие стихи. Упражнения, которыми послужили для него переводы поэтов Древнего Рима, научили его гибкости в стихосложении. Трудолюбия у него было достаточно; он обладал также врожденным чувством языка. Он овладел формой стиха, она у него уже была прекрасна, но не наполнена содержанием. «Сын госпожи Гюго и Реставрации» еще не нашел в 1819 году горячего сплав, который его дарование могло бы вливать в приготовленные им изложницы. Достигнуты первые успехи на академических конкурсах, его подстерегал опасный соблазн – идти и дальше по этому легкому пути, что сделало бы его рабом моды. Жаргон французской поэзии был тогда мертвым языком. Вместо того чтобы сказать: «Военной славе можно предпочесть радости любви», полагалось писать примерно так:

<sup>22</sup> Трое для одной (*исп.*).

Пояс Киферы  
Не хуже эгиды Паллады!

«Идеалом считалось традиционное сочетание благородного прилагательного с благородным существительным»: *сладостный мир, целомудренная любовь, святая и чистая дружба*. Что касается сюжетов, то во времена недавно воцарившейся реакции они диктовались молодому поэту его политической позицией. Что мог бы Виктор Гюго сказать, будь он искренним? Несомненно, в его творчестве отразились трагические впечатления детской души, слишком рано впитавшей страшные картины, и чувственные мечтания юноши, чистого в жизни, сладострастного в воображении. В пансионе Декотта и Кордье он сочинял для собственного удовольствия анакреонтические стихи:

Сон, ты влюбленных утешенье,  
Хоть и бежишь от их очей;  
Мужья тебя зовут для мщенья,  
Но усыпляешь ты мужей.

Приходят к парижанам в гости  
Сны в двери разные, поверь:  
К влюбленным – в дверь слоновой кости,  
К ревнивцам – в роговую дверь.

Мне снилось, Хлою я в объятья  
Привлек – и так был упоен,  
Что, право же, не мог бы спать я,  
Коль стал бы явью дивный сон<sup>23</sup>.

Это напоминало Бертена и Парни, было не лучше и не хуже, чем у них. Что касается Академии, она требовала помпезных од, украшенных риторическими фигурами, апострофами и прозопопеями, насквозь пропитанных возвышенными чувствами, или же (предел академической фантазии) экзотических пасторалей, вдохновленных творениями Шатобриана и смутно их напоминавших. «Индианка Канады, подвешивающая к ветвям пальмы колыбель своего ребенка» и «Дочь Таити» были опытами Гюго в этом духе, стихотворной переделкой романа «Атала».

Вскоре он завязал отношения с Литературной академией в Тулузе, с которой еще была связана память о трубадурах и о Клеманс Изор, что придавало ей ореол старины, – она венчала поэтов, побеждавших на состязании, и под звуки флейт в награду за труды преподносила им золотые и серебряные фиалки, ноготки или амаранты. Эжен послал на конкурс «Оду на смерть герцога Энгиенского» и получил «ноготки из резерва». Молодые поэты чувствовали, что в капитолии Тулузы им оказывают более радушный прием, чем во дворце Мазарини. Виктор Гюго представил также «Оду о верденских девах», казненных во время Революции за то, что они появились на балу, который давали пруссаки; кроме того, он принял участие в конкурсе стихов на предложенную тему – «Восстановление статуи Генриха IV». До последнего дня он не смог взяться за перо, так как ухаживал за матерью, заболевшей бронхитом; больная приходила в отчаяние, что сын упускает случай выдвинуться, и тогда он за одну ночь написал оду:

---

<sup>23</sup> Виктор Гюго. Во сне («Оды и баллады»). Перевод И. Шафаренко.

Геройством равен ты Баярду, Дюгесклену,  
Земному неподвластен тлену,  
И чтит тебя весь наш народ.

Нерасторжимые с тобой нас вяжут узы,  
С любовью этот дар приносим мы, французы,  
Защитнику вдов и сирот<sup>24</sup>.

Школьное упражнение, показавшее, однако, столь очевидное мастерство в употреблении александрийского стиха попеременно с восьмисложником, в ритмическом равновесии мысли и стиха, что оно принесло поэту Золотую лилию – первую премию на этом конкурсе, где он одержал победу над многочисленными соперниками, в том числе и над Ламартином, который был старше его на десять лет. Член Тулузской литературной академии Александр Суме написал Виктору Гюго письмо, расхвалил его «прекрасный талант» и уже заговорил о «чудесных надеждах», которые он внушает французской литературе: «Если Академия разделяет мои чувства, то у Клеманс Изор не хватит лавровых венков для двух братьев-поэтов. Здесь, в Тулузе, у вас одни лишь поклонники, и им с трудом верится, что вам всего семнадцать лет. Для нас вы загадка, тайну которой знают лишь Музы...» Эта жеманная похвала исходила от писателя, известного не только в Тулузе, но и в Париже, – его даже именовали «наш великий Александр». Суме весьма любезно встречал начинающих поэтов. «В нем все дышало поэзией. Казалось, сердце его переполнено чувством любви к людям». В 1811 году (то есть в возрасте двадцати пяти лет) он получил большой Золотой амарант за свою «Оду на рождение Короля Римского». С переменой политического строя меняются и сюжеты. После возвращения к власти Бурбонов Александр Суме счел за благо удалиться на некоторое время в Тулузу и написать там оду «Хвала Людовику XVI». «Можно, – говорил он, – видеть в этом воздействие политических событий». Разумеется, можно.

Суме, только еще приспособившийся в ту пору к монархии Бурбонов, редко бывал в Париже, но у него были там друзья, с которыми он познакомил и Виктора Гюго. Он ввел его в дом крупного чиновника удельного ведомства Жака Дешана де Сент-Аман, любезного и образованного старика, при котором жили два его сына, оба поэты, – Эмиль и Антони Дешан. Вокруг них сложилась группа писателей примерно в возрасте лет тридцати – все они были буржуа, католики и монархисты. Среда обычная, но в ней много говорили о Гёте, о Байроне, о Шиллере, о Шатобриане. Считалось, что Германия и Англия опередили всех в области литературы, так как Франция с 1789 по 1815 год занималась только войнами. В салоне Дешанов мечтали о новой поэзии, там всех волновали посмертно изданные произведения Андре Шенье, опубликованные Анри де Латушем; знатоки восхищались, находя в них совершенно новые ритмы и простоту интонаций, свойственную подлинной античности. К белокурому юноше, Виктору Гюго, люди, уже преуспевшие в литературе, относились, как он видел, серьезно, называли его «дорогой собрат». Он этому не удивлялся, ибо полон был спокойной веры в себя, которую дает сознание своей силы. В сентябре 1819 года, идя по стопам Шатобриана, напечатавшего в своей газете «Консерватор» статью о Вандее, юный Гюго, вандеец по матери, написал оду «Участь Вандеи» и дерзнул посвятить ее Шатобриану. У великодушного Абея имелся приятель-типограф, ода была напечатана. Расходилась она плохо. Но в Париже о ней говорили.

Одна черноглазая девушка с волнением следила за быстрым взлетом своего друга. То была Адель Фуше. Как-то раз, когда они сидели вдвоем под высокими каштанами, она сказала ему: «У тебя, наверно, есть какие-нибудь секреты. И наверно, есть среди них самый важный секрет». Он подтвердил это. «И у меня так, – сказала Адель. – Ну вот, слушай: скажи мне

---

<sup>24</sup> Перевод М. Донского.

свой самый важный секрет, а я тебе скажу свой». – «Мой важный секрет, – ответил Виктор, – это то, что я тебя люблю». – «И мой важный секрет – это то, что я тебя люблю», – повторила она. Разговор происходил 26 апреля 1819 года. Оба влюбленных были робкими и благоразумными созданиями: он – пылкий и серьезный, она – очень благочестивая. Любовь их оставалась невинной и от этого окрепла еще больше. «После твоего ответа, моя Адель, я не уступлю в храбрости льву».

Фуше провели лето в Исси, в окрестностях Парижа, Виктор иногда ездил туда вместе с матерью, а остальное время думал об Адели. «Сердечная склонность обратилась в неодолимое пламя». Зимой 1819/20 года завязалась переписка. Виктор, читавший «Вертера» и «Рене», Тибулла и Катутла, переводивший любовные стихи Горация, горел втайне страстью; Адель, семнадцатилетняя буржуазка, получившая строгое воспитание, стыдилась своей любви, как «греха». Она была горда, что в нее влюблен молодой человек, уже стоявший на пороге славы, но стыдилась своих свиданий с ним и тайной своей переписки – бедняжка боялась родителей и духовника. В декабре 1819 года, когда Виктор принес ей поэму «Первые вздохи», написанную для нее, и попросил в обмен подарить ему двенадцать поцелуев, – она сначала обещала, потом стала торговаться и поцеловала его только четыре раза.

Я жду награды, изнемог!  
Но твой стыдливый страх, борясь с твоей любовью,  
Расплаты отдаляет срок<sup>25</sup>.

Виктор, сформировавшийся под влиянием матери, относился к жизни серьезно. Он уже и в те дни стал думать о женитьбе и не хотел компрометировать свою невесту. «Влюбленный, ты будешь супругом, храни же ее чистоту». Он простирался ниц у ног этой девочки: «Так это правда? Ты любишь меня, Адель? Да неужели мне можно поверить в это чудо? Какое счастье ты мне подарила! Прощай, прощай. Сладко мне будет спать нынче ночью – я буду видеть тебя во сне. Спи крепко и помни, что ты обещала своему мужу поцеловать его двенадцать раз...» Адель отвечала ему иногда в письмах как влюбленная женщина, но гораздо чаще как примерная девочка, которую бранит мать. Госпожа Фуше заявила, что она «очень недовольна», зачем ее дочь выражает симпатию молодому человеку.

Адель – Виктору. «Ведь это очень плохо, Виктор, когда дочь хочет, чтобы мать ушла куда-нибудь... Я просто в отчаянии, – хочу молиться, но молюсь только устами, а вся моя душа стремится к тебе. Это, конечно, прискорбно... Чуть только моя дорогая матушка отвернется, я ее обманываю – берусь за перо...» И она умоляла Виктора быть осторожным. Хоть и с сожалением, но он это обещал ей.

### **Виктор Гюго – Адели Фуше, 19 февраля 1820 года**

Думаю, что теперь мы действительно должны соблюдать на людях величайшую сдержанность друг с другом; лишь ценою долгой внутренней борьбы я мог решиться посоветовать тебе выказывать мне холодность, – мне, твоему суженому, твоему Виктору, который отдал бы все на свете, чтобы избавить тебя от малейшего огорчения; да еще я должен принудить себя не садиться больше рядом с тобой. И вот, дорогая моя подруга, заклинаю, сжался над несчастным ревнивцем, сторонись других мужчин так же, как будешь сторониться меня самого. Больше меня не увидят в соседстве с тобой,

<sup>25</sup> Виктор Гюго. Молодой изгнанник («Оды и баллады»). Перевод М. Донского.

так пусть же мне хоть малым утешением будет то, что другим не достанется счастье, от которого я в твоих интересах вынужден отказаться. Будь около своей матушки, находишься среди других женщин. Адель, дорогая моя, если бы ты знала, как я тебя люблю! Я не могу видеть, как другой хотя бы просто приближается к тебе, – весь я тогда трепещу от зависти и нетерпения; мышцы мои напрягаются, вздох поднимает грудь, и мне нужна бывает вся моя сила и осмотрительность, чтобы сдержаться...

Однако 28 декабря они с разрешения родителей и в сопровождении младшего брата Адели (Поля Фуше) были в Театр-Франсэ, где давали в тот вечер «Гамлета». «Скажи мне, дорогая, запомнилось ли тебе что-нибудь из этого чудесного вечера? Помнишь, как мы долго ждали твоего брата на соседней с театром улице и как ты мне сказала тогда, что *женщины любят сильнее, чем мужчины*? И помнишь ли ты, что весь вечер во время представления твоя рука опиралась на мою руку? Я говорил тебе о неизбежных несчастьях, грозящих человеку, – и они действительно вскоре обрушились на нас...»

Однажды Адель спрятала письмо за корсаж платья, и, когда наклонилась, чтобы обуться, оно выпало. Госпожа Фуше спросила: «Что это такое? Скажи мне. Я требую». Девушка рассказала, как сильно Виктор любит ее, и призналась, что они решили пожениться. Мать обсудила положение с мужем, и они пришли к выводу, что возможны только два выхода: или помолвка, или разлука. Пьер Фуше был не прочь выдать дочь за Виктора. С генералом наполеоновской Империи, хоть и переведенным на половинную пенсию, все же лестно было породниться. Кроме того, Фуше верил в будущие успехи юноши и знал, какого мнения держатся о нем умные люди. Но следовало выяснить дело начистоту, а то кругом уже пошли толки. Адель написала Виктору: «Все кумушки в нашем квартале смеются надо мной, и, хотя их сплетни не погубят меня, они все же очень мне вредят. С другой стороны, как мне не упрекать себя – я нехорошо поступаю с матушкой, а ведь я люблю ее, я все готова сделать ради нее... Ах, дорогой Виктор, как я виновата перед ней! Я не удивлюсь, если ты, при таком моем поведении, станешь презирать меня...»

Он был очень далек от презрения, но стремился властвовать над ней и даже давал ей уже супружеские наставления.

«Теперь ты дочь генерала Гюго. Не делай ничего недостойного тебя. Не допускай, чтобы с тобой держали себя неуважительно; мама очень щепетильна в этом отношении...» А сам он был еще щепетильнее. «Одной булавкой меньше заколота у меня косынка – и он уже сердится, – говорила Адель. – Самая легкая вольность в языке его коробит. А можно себе представить, какие это были „вольности“ в целомудренной атмосфере, царившей в нашем доме; матушка и мысли не допускала, чтобы у замужней женщины были любовники, – она этому не верила! А Виктор видел везде опасность для меня, видел зло во множестве всяких мелочей, в которых я не замечала ничего дурного. Его подозрения заходили далеко, и я не могла всё предвидеть...»

### ***Виктор Гюго – Адели Фуше, 4 марта 1820 года***

Моя дорогая, милая моя Адель. Мне надо кое-что сказать тебе, но я смущаюсь. Не сказать нельзя, а как приступить – не знаю... Я хотел бы, Адель, чтобы ты меньше боялась испачкать грязью подол платья, когда ходишь по улице. Я только вчера, но с большой грустью заметил, какие предосторожности ты принимаешь... Мне кажется, что стыдливость важнее, чем платье. Не могу выразить, дорогой друг, какой пыткой было для меня то, что я испытал вчера на улице Сен-Пер, когда увидел, как на тебя, мою чистую, целомудренную, мужчины бросают бесстыдные взгляды. Мне хотелось предупредить тебя, но

я не смел, не находил в замешательстве нужных слов. Не забывай того, что я написал здесь, если не хочешь поставить меня перед необходимостью дать пощечину первому же наглецу, который дерзнет разглядывать тебя...

Очень любопытны эти письма к невесте, полные «благодравия, избитых истин», написанные «с искренностью влюбленного пай-мальчика» и «добродетельной выпренности». Язык их – «шаблонный в годы Реставрации»... Но разве мог этот юноша быть вне своего времени и своей среды? И как он дерзнул бы сказать этой набожной и чистой девочке, что за мысли приходят ему на ум? Близ Адели его томило желание, сочетавшееся с глубокой почтительностью к невесте, и он не знал, куда деваться от смущения. Она замечала эту скованность и дурно ее истолковывала. «Мало того, что я совсем больна от огорчений и тоски! – жаловалась несчастная Адель. – Я еще, оказывается, докучаю тебе в те краткие мгновения, когда ты бываешь со мной...» «Скука запечатлена на твоём лице и в каждом твоём слове...» Сколько терзаний! У него даже явилась мысль в духе Вертера: не может ли он жениться на Адели, быть её мужем лишь одну ночь, а наутро покончить с собой? «Никто не мог бы упрекать тебя. Ведь ты была бы моей вдовой... За один день счастья стоит заплатить жизнью, полной несчастий...» Адель не желала следовать за ним по пути столь возвышенных страданий и возвращала его к мыслям о соседских сплетнях на их счёт. Мать говорила ей: «Адель, если ты не перестанешь, если не прекратятся толки о тебе, я вынуждена буду поговорить с Виктором или, пожалуй, с его матушкой, и ты окажешься причиной, дочь моя, что я поссорюсь с той, которую я люблю и очень уважаю...»

Какой ужас объял Виктора, когда 26 апреля 1820 года, утром, в годовщину взаимного объяснения в любви, супруги Фуше с торжественным видом пожаловали к госпоже Гюго и попросили уделить им время для серьёзного разговора. Софи Гюго была матерью страстной, она ревновала своего сына и гордилась им. Она *знала*, она нисколько не сомневалась, что Виктора ждёт блистательная слава. Кроме того, он был сыном генерала графа Гюго. Неужели он испортит себе жизнь, женившись в восемнадцать лет на Адели Фуше? Нет, «пока мать жива, этому браку не бывать».

Естественным, неизбежным следствием этой оскорбительной, враждебной позиции была холодность, «почти что ссора». Виктора позвали в гостиную и сообщили ему о разрыве. В присутствии стариков Фуше он сдержал свое горе, но не отрекся от своей любви. Они ушли. «Видя, что я бледен и не говорю ни слова, мать принялась утешать меня с необычайной нежностью; я выбежал из комнаты и, когда остался один, плакал долго и горько...» Ему и на ум не приходила мысль поколебать решение матери. Он знал, что она «непреклонна и неумолима», и «ненависть её так же нетерпима, как пламенна её любовь...». Что касается бедняжки Адели, то родители, вернувшись домой, просто сказали ей, что она никогда больше не увидит ни графини Гюго, ни Виктора. Любил ли он её ещё? Она этого не знала. Родители заявили, что он *отказался* бывать у них. Между влюблёнными опустился занавес молчания.

### III

## «Литературный консерватор»

*Гюго, как и подобает настоящему поэту, был первоклассный критик.*

*Поль Валери*

Любовь не задалась; он искал утешения в работе. Абель решил, что трем братьям Гюго надо наконец издавать свой журнал. Шатобриан, их учитель, назвал свой журнал «Консерватор», а их журнал будет называться «Литературный консерватор». Он выходил с декабря 1819-го по март 1821 года и в основном составлялся Виктором. Абель написал несколько статей; обидчивый Эжен держался в стороне и содействовал немногим – дал несколько стихотворений. Бискара писал Виктору из Нанта, заклиная его заставить брата работать: «А иначе он погибший человек...» Только благодаря кипучей энергии младшего брата журнал получал пищу; под одиннадцатью псевдонимами Виктор Гюго напечатал там за шестнадцать месяцев сто двенадцать статей и двадцать два стихотворения.

Просматривая номера «Литературного консерватора», невольно удивляешься уму и образованности этого мальчика. В критике литературной, критике театральной, в иностранной литературе он проявляет глубокую осведомленность; он, несомненно, обладал подлинной культурой и особенно хорошо знал римскую и греческую Античность. Его философские воззрения благородны. О Вольтере, которым он тогда восхищался, он говорил с упреком: «Это прекрасный гений, написавший историю отдельных людей для того, чтобы обратить свой сарказм на все человечество... А ведь это все-таки несправедливо – находить в анналах мировой истории только ужасы и преступления...»<sup>26</sup> Однако в оценке прошлого Гюго и сам проявлял саркастический цинизм, порожденный картинами того времени: «Римский сенат заявляет, что он не будет давать выкуп за пленных. Что это доказывает? То, что у сената не было денег. Сенат вышел навстречу Варрону, бежавшему с поля битвы, и благодарил его за то, что он не утратил надежды на Республику. Что это доказывает? То, что группа, заставившая назначить Варрона полководцем, была еще достаточно сильна для того, чтобы не допустить его кары...» Сама мысль, четкость стиля, обширные познания – все возвещало в этом юноше крупного писателя. В политике он оставался монархистом:

Ты говоришь: чудак ужасный он —  
Нравоученья, спесь, ворчливый тон...  
О нет! В шестнадцать лет я ученик,  
Я скромно познаю премудрость книг:  
Я Монтескьё читал, мне люб Вольтер,  
А «Хартия» – в ней строгости пример...  
Я консерватор?... Нет, противник бурь...<sup>27</sup>

В литературе братья Гюго придерживались робкого эклектизма: «Мы не могли понять, какая разница между жанром классическим и жанром романтическим. Для нас пьесы Шекспира и Шиллера отличались от пьес Корнеля и Расина тем, что в них больше недостатков...» Однако Виктор Гюго имел смелость сказать, что если надо учиться у Делиля, то это учитель опасный. Гюго уже видел худосочие академического эротизма в поэзии. «Для художника

---

<sup>26</sup> Виктор Гюго. Дневник юного якобита 1819 года.

<sup>27</sup> Виктор Гюго. Ответ на послание королю господина Урри («Оды и баллады»).

любовь – неиссякаемый источник ярких образов и новых мыслей; совсем не то получается при изображении сладострастия – там все материально, и, когда вы исчерпаете такие эпитеты, как „алебастровый“, „бело-розовый“, „лилейный“, – вам уж больше и нечего сказать...» Он требует, чтоб у поэта был «ясный ум, чистое сердце, благородная и возвышенная душа». У него верное критическое чутье: «Когда же в наш век литература будет на уровне его общественных движений и появятся поэты, столь же великие, как события, коими он отмечен?...» Юный поэт считал, что пошлость в такую эпоху непростительна, «потому что уже нет Бонапарта, некому привлекать к себе даровитых людей и делать из них генералов».

В литературе Виктор Гюго восхищался только теми, кто действительно этого был достоин: Корнелем, у которого он находил смелую фантазию, особенно в комедиях; Шенье, которого только что открыл Латуш и над гробом которого свирепствовали в своей критике поборники классицизма; Вальтером Скоттом, влияние которого на литературу он предвидел; Ламартином, чьи «Поэтические думы» изданы были в 1820 году: «Вот наконец настоящие поэмы настоящего поэта, стихи, исполненные настоящей поэзии...» Простота Ламартина поражала Гюго: «Эти стихи поначалу меня удивили, а затем очаровали. В самом деле, они свободны от нашей светской изысканности и нашего заученного изящества...» В сравнительной оценке Шенье и Ламартина у Гюго есть замечательная фраза: «Словом, если я хорошо уловил различия меж ними, весьма, впрочем, незначительные, то первый является романтиком среди классицистов, а второй – классицист среди романтиков».

В 1820 году Виктор Гюго носил в кармане записную книжку, в которую заносил свои мысли: «По жизни так же трудно шагать, как по грязи. – Шатобриан переводит Тацита точно так же, как Тацит переводил бы его. – Министры говорят все, что вам угодно, лишь бы делать то, что им угодно...» Юноше, который набрасывал такие заметки, было восемнадцать лет. В его записной книжке были и такие строки: «Де Виньи говорит, что, когда Суме воодушевляется, его душа прохладается у окошечка...» Суме и его тулузские друзья – вулканический Александр Гиро, граф Жюль де Рессегье – играли первостепенную роль в «Литературном консерваторе». Суме, поэт каждой черточкой своего облика, пленял своими длинными черными ресницами, ангельским выражением лица, взбитым коком, которому он тоже умел придать что-то вдохновенное. Он был способен на большую самоотверженность, лишь бы его немедленно подвергли испытанию. «Но с ним, – говорила Виржини Ансело, – ничего не следовало откладывать до завтра». Гиро «своей живостью напоминал белку и всегда как будто вертелся в колесе...». Виктор Гюго мог считать себя их собратом, ведь его поэтическое мастерство получило признание на конкурсе Литературной академии в Тулузе. Другим ценным сотрудником журнала были братья Дешан, отец которых принимал всю эту молодежь в своих прекрасных апартаментах: Антони – немного странный, Эмиль – нежно любящий сын, верный муж некрасивой жены, «очаровательный, чересчур очаровательный человек». «Этот поэт – светило? Нет – свечка», – говорил он о Жюле де Рессегье. Остроту обратили против него самого.

В 1820 году Эмиль Дешан познакомил Виктора Гюго со своим другом детства Альфредом де Виньи, красавцем-лейтенантом королевской гвардии и поэтом, который, однако, еще не печатался. Вначале отношения были церемонными, новые знакомые называли друг друга: «господин де Виньи», «господин Гюго». Виньи состоял в гарнизоне Курбуа, Гюго пригласил его к себе домой: «Вы, надеюсь, заглянете к нам. Поскучаете с нами, зато доставите нам удовольствие». Что это – показное смирение? Конечно, но юноше было и немного страшно принять в своем доме человека старше его на пять лет, блестящего гвардейского офицера, гордого своей родовитостью. Напрасные страхи: Виньи, которому уже начали надоедать золотые эполеты и длинная сабля, стал другом не только Виктора Гюго, но и Абея, и «неустрашимого Гарольда», как он называл Эжена. «Вы же видите, что я ужасно соскучился о всех трех братьях, – писал он им. – Приезжайте, у нас будут долгие беседы, за которыми время летит незаметно».

Опять-таки через Дешана Гюго познакомился с Софи Гэ и с ее прелестной дочерью Дельфиной, которая еще подростком писала стихи, казавшиеся, благодаря ее красоте, восхитительными; через Виньи он познакомился с лучшими его друзьями – Гаспаром де Понс и Тейлором, офицерами того же полка. Понс был поэтом, а Тейлор – просто любителем литературы. Но, разумеется, больше всего Гюго хотелось встретиться с Шатобрианом. «Гений христианства», «очаровавший его своей музыкальностью и красочностью», открыл ему некий поэтический католицизм, «хорошо сочетавшийся с архитектурой старинных соборов и величественными библейскими образами...». Гюго быстро перешел от вольтерьянствующего роялизма своей матери к христианскому роялизму Шатобриана, надеясь, что это немного сблизит его с семейством Фуше, где все были набожными католиками. Когда убили герцога Беррийского, Виктор Гюго написал на его смерть оду, которая произвела большое впечатление; одна строфа ее исторгла слезы у престарелого Людовика XVIII.

Спеши, седой монарх, недолог счет мгновеньям:  
Бурбонов юный сын отходит в мир иной.  
Он для тебя был всем – надеждой, утешеньем, —  
И ты глаза ему закрой<sup>28</sup>

Обращение к родным умершего – банальная риторика, но в те времена у монархии не было ничего лучшего, и выраженное в стихотворении чувство растрогало короля; он приказал вручить юному поэту награду в пятьсот франков. Депутат парламента, монархист Ажье, поместил в «Драпо блан» статью об этой «Оде» и привел отзыв Шатобриана о Гюго: «Возвышенное дитя». Действительно ли Шатобриан произнес эти слова? Доказательств не имеется. Сам виконт Шатобриан морщился, когда ему об этом напоминали. Однажды вечером, в 1841 году, в салоне госпожи Рекамье, граф Сальванди, которому в скором времени предстояло произнести речь о принятии Гюго в Академию, сказал Шатобриану: «Я ограничусь парафразами вашего прекрасного отзыва: „Возвышенное дитя“». – «Но я никогда не говорил этой глупости!» – нетерпеливо воскликнул Шатобриан.

Как бы то ни было, Ажье повел Виктора Гюго в дом № 27 по улице Сен-Доминик, и прием состоялся – такой, каким он только и мог быть: остроносая госпожа Шатобриан сидела на диванчике, не шелухнувшись и не открывая рта; Шатобриан, в черном сюртуке, хилый, худенький, сгорбленный, стоял прислонившись к камину и старался выпрямиться во весь рост. Постаревший Рене не жалел похвал, «однако ж и в его позе, и в интонациях голоса, и в манере раздавать чины писателям было нечто властное и столь величественное, что Виктор Гюго почувствовал себя скорее униженным, чем охваченным восторгом. Он смущенно бормотал в ответ что-то невнятное, и ему очень хотелось поскорее уйти...». По настоянию матери он приходил к Шатобриану еще несколько раз, но и эти посещения не порадовали его, за исключением одного забавного визита, когда он был допущен поздним утром в час пробуждения виконта и удостоен любопытного зрелища: к удивлению своего ученика, Шатобриан при нем принимал душ, а затем слуга растирал его нагое тело. У старого Волшебника была манера делать грозные паузы, отчего беседа затихала, и с ледяной учтивостью показывать, что ему скучно... «Он внушал больше почтения, чем симпатии; люди чувствовали, что перед ними гений, а не просто человек...»

Литература нередко бывает для писателя способом передать своим любимым то, чего он не может им сказать. Гюго каждый месяц посылал господину Фуше очередной выпуск «Литературного консерватора», в котором помещал хронику о мелких административных деяниях его министерства, как будто они были важными мероприятиями, – он надеялся, что журнал

<sup>28</sup> Виктор Гюго. Смерть герцога Беррийского («Оды и баллады»). Перевод И. Шафаренко.

попадет на глаза Адели. Там он напечатал элегию «Молодой изгнанник», в которой ученик Петрарки, Раймондо д'Асколи, изгнанный своим отцом за любовь к юной девушке, говорит, что он покончит с собою:

Я смею вам писать. Увы, как это мало!  
Что передаст вам гладь бумажного листа?  
Ведь наша нежность так чиста,  
Что в час свидания нас робость обуяла  
И слова не смогли произнести уста...<sup>29</sup>

Этих стихов не постыдился бы и Лафонтен. Прочитала ли их Адель? Гюго попытался также выразить свою любовь и в прозе – написал неистовый роман «Ган Исландец», в котором изобразил себя под именем Орденера и Адель в образе Этель. «Душа моя была полна любви, скорби и юношеских чувств; я не осмеливался доверить ее тайны ни одному живому созданию и выбрал немого наперсника – бумагу...»

Незаконченный «Ган Исландец» не мог быть напечатан в «Литературном консерваторе», ибо журнал скончался в марте 1821 года или, точнее, слился с «Летописью литературы и искусства». Слияние является для журналов наиболее почетной формой самоубийства. Для «возвышенного дитяти» «Литературный консерватор» был полезным опытом. «Годы журналистики (1819–1820), – писал Сент-Бёв, – были в его жизни решающим периодом: любовь, политика, независимость, рыцарские чувства, религия, бедность, слава, приобретение знаний, борьба против судьбы во всю силу железной воли – все оказывало свое воздействие, все задатки проявились сразу, разрослись и достигли той высоты, которая свойственна гению. Все запылало, перемешалось, спланилось в глубине души на вулканическом огне страстей, под знойным солнцем самой жадной до жизни молодости, – и вот получился таинственный сплав, кипящая лава под крепкой, прочной броней гранита...» Было в этом юноше что-то другое, большее, чем дарование крупного журналиста, но и этим драгоценным даром он обладал и на всю жизнь сохранил искусство придавать повседневному, будничному накал драматичности.

---

<sup>29</sup> Виктор Гюго. Молодой изгнанник («Оды и баллады»). Перевод И. Шафаренко.

## IV Обручение

*Моя мать, женщина сильного характера, научила меня тому, что человек может выдержать любые испытания.*

**Виктор Гюго**

Февраль 1821 года. Влюбленные не виделись уже десять месяцев. Госпожа Гюго все перепробовала для того, чтобы ее сын позабыл Адель: «Она старалась заинтересовать меня светскими развлечениями... Бедная мама! Ведь она сама вложила в мое сердце пренебрежение к свету и презрение к его чванству...» Он никогда не говорил с ней о своей любви, но мать читала в его глазах, что ни о чем другом он не думает. Никакой возможности непосредственного общения с невестой не было. Однако Виктор знал, что она берет уроки рисования у своей подруги Жюли Дювидаль де Монферье и что к ней она ходит одна.

Как-то раз утром он дождался своей невесты около этого дома и заговорил с ней. Сначала она как будто обрадовалась, потом пришла в ужас: какие еще пойдут толки, если ее встретят с молодым человеком! На Виктора она была немного сердита, ведь он сам, из сыновней покорности, согласился больше не видаться с нею. Он поклялся, что только и мечтает о том, чтобы прийти на улицу Шерш-Миди, если это «возможно и прилично». Адель возмутила эти слова. «Истинная любовь, – подумала она, – не ставит таких условий». «Ты сумел отвергнуть мою просьбу прийти к нам...»

Печально положение влюбленных, когда они должны считаться с самолюбием своих родителей. Виктор с горечью воскликнул: «Ради тебя я бросился бы в пропасть; ты остановила меня ледяной рукой...» Адель обиделась: «Очень, очень хочу, чтобы мама встретила нас и увидела, что я разговариваю с тобой. Тогда она отдаст меня в монастырь, и я буду совершенно счастлива...» Ссора влюбленных в духе Мольера – в минуту досады они доходят до сарказмов, но остерегаются разрыва. «Прощай, – грозит Виктор, – больше не стану писать тебе, не стану говорить с тобою, больше не увижу тебя. Будь довольна...» Но через два дня он сказал: «Если, сверх ожидания, тебе захочется еще что-нибудь сообщить мне, ты могла бы написать мне по такому адресу: „Париж, Главный почтамт, до востребования, господину Виктору Гюго, из Тулузской литературной академии...“» И разумеется, она написала – еще и еще раз и вновь стала обожаемой Аделью. Записная книжка Виктора Гюго в зиму 1820/21 года испещрена таинственными заметками: свидания «на улице Драгон, на улице Эшоде, на улице Вьё-Коломбье, в Люксембургском саду (Р)... Комната-улыбка (х)... Рука-прощанье (Люкс, г)...

Двадцать шестое апреля 1821 года. Двойная годовщина – и счастья и отчаяния. *Виктор – Адели:* «Вот начинается второй год несчастья. Доживу ли я до третьего года?.. А сейчас прощаюсь с тобой, моя Адель. Час уже поздний, ты спишь и не думаешь о локоне своих волос, который подарила мне, а твой муж ежевечерне перед сном благоговейно прижимает его к губам...» *Адель – Виктору:* «Пишу тебе в последний раз. Отдам тебе эту записочку второпях, потому что за мной следит весь дом Дювидаль. Итак, я больше не увижу тебя – это невозможно – и больше не буду получать от тебя вестей. Не буду больше обманывать маму, но удовлетворится ли она этим? Не знаю».

И вдруг неожиданная развязка. Госпожа Гюго тяжело заболела. Ей было совсем не полезно жить на четвертом этаже, да еще в доме без сада, и в январе 1821 года она переехала в квартиру, снятую Абелем в первом этаже дома № 10 по улице Мезьер. Сыновья, которых она приучила к ручному труду (и к тому же склонные к нему по семейной традиции), превратились в столяров, маляров, обойщиков, красильщиков, так как у матери уже не было средств, чтобы устроиться на новом месте. Все три сына и она вместе с ними вскапывали землю в саду, сажали,

прививали, подчищали дорожки. Однажды она очень устала, разгорячилась, тут же ее продуло, и она заболела воспалением легких. Сыновья проводили бессонные ночи, ухаживая за ней. 27 июня 1821 года, в три часа утра, она умерла у них на руках.

Абель, которого вызвали, помог им выполнить скорбные обязанности. Три брата и несколько друзей, в том числе молодой священник герцог де Роган, поклонник первых поэтических опытов Гюго, проводили покойницу на кладбище в Вожирар. Вечером Виктор в глубокой тоске бродил по городу. Как он одинок! Умерла та, которая была всем для него. Отец живет в Блуа, такой враждебный или по меньшей мере равнодушный. Невеста отказала. Эжен не может простить ему две обиды: Адель и литературный успех. Уже в те дни, когда они детьми качались на качелях в саду фельянтинок, братья устраивали сражения, чтобы привлечь внимание «будущей красавицы». Со времени триумфов Виктора у Эжена все больше нарастала злоба против брата, и он плохо ее сдерживал. Виктор немного жалел Эжена, но все же ему было приятно чувствовать свое превосходство – удовлетворенное самолюбие младшего. Но вскоре их отношения стали мучительны для него. Эжен уже давно пугал своих близких приступами черной меланхолии, иногда находившей на него, а после смерти матери он стал как сумасшедший.

Ища надежды и утешения, Виктор побрел под дождем к Тулузскому подворью.

Как был он изумлен в этот скорбный вечер, увидев, что у Фуше все окна ярко освещены! Притаившись в тени деревьев, он слышал доносившуюся из дома музыку и веселый смех. Знакомыми закоулками он пробрался поближе к окнам и увидел Адель: в белом платье, с цветами в волосах, она танцевала и улыбалась. Этого удара он всю жизнь не в силах был забыть. Подобные воспоминания позднее помогли ему глубоко понять бедняков, которые, прикинув к окнам богачей, с горечью смотрят на празднества, для них навсегда недоступные. На следующее утро, когда Адель прогуливалась в саду, туда прибежал Виктор, – самое это появление и бледность юноши говорили о каком-то несчастье. Адель бросилась к нему: «Что случилось?» – «Мама умерла. Вчера ее похоронили». – «А я-то вчера танцевала!» Оба разрыдались – и эти пролитые вместе слезы были их обручением.

Господин Фуше отправился на улицу Мезьер, чтобы выразить свое сочувствие, и горячо советовал Виктору уехать из Парижа. Жизнь в столице была дорога, а молодые люди казались очень бедными. Виктор написал отцу, сообщил ему ужасную весть.

### *Генералу Гюго, 28 июня 1821 года*

Наша утрата огромна, непоправима. Но у нас остался ты, папа, и наша любовь, наше уважение к тебе могут лишь возрасти... Ты должен знать, какая у нее была душа: никогда она не говорила о тебе с гневом. Нам не подобает и никогда не подобало судить о плачевных раздорах, разлучивших тебя с нею, но теперь, когда осталась лишь чистая, светлая память о ней, разве не стерлось все остальное?... От бедной нашей матушки нам ничего не досталось, лишь кое-какая одежда, дорогая для нас по воспоминаниям. Расходы, коих потребовали ее болезнь и погребение, превысили наши слабые возможности; немногие сохранившиеся у нас ценные вещи – столовое серебро, часы и прочее – ушли на эти надобности, да и могли ли они получить лучшее применение? Мы еще обязаны расплатиться с доктором и с некоторыми другими долгами. Если ты не можешь взять это на себя, мы постараемся впоследствии все заплатить из того, что заработаем своим трудом. Обстановка в доме ничего не стоит, да и принадлежит она Абелю, у которого мама жила вместе с нами, так как сама она не могла платить за квартиру. Главная наша цель сейчас, дорогой папа, – как можно скорее не быть тебе в тягость...

Все три сына желали, чтобы отец приехал в Париж уладить их дела; растерявшись, они цеплялись за этот обломок крушения, еще хранивший следы величия. Финансовое положение генерала не улучшилось. Овдовев, он прежде всего поспешил жениться на «госпоже Мари-Катрин Тома и Сактуан, тридцати семи лет, вдове помещика господина Анакле д'Альме». Такие имена фигурируют в книге записей актов гражданского состояния, тогда как в письмах, оповещавших о состоявшемся событии, говорилось о женитьбе генерала Гюго на «вдове господина д'Альме, графине де Салькано». Она была любовницей генерала в течение восемнадцати лет. Для этих «старых супругов» достаточно оказалось «сказать „да“ в муниципалитете», а свадьбы с колокольным звоном у них не было. Полковник Луи Гюго, проживавший в городе Тюле, в письме к своей сестре Готон возмущался, что «генерал даже не сообщил о смерти жены своим братьям! Эта беспечность показывает, как мало он к нам привязан...». Вторым брак состоялся 20 июля 1821 года в Шабри (департамент Эндр); Луи Гюго узнал о нем только в январе 1822 года и сейчас же уведомил свою сестру, вдову Мартен-Шопин: «Если это правда, придется скрепя сердце примириться с (злосчастной) судьбой...» Сыновья несколько месяцев притворялись, будто они не знают, что отец оформил свой брак. Да и разве могли бы они препятствовать? Они полностью зависели от отца, – мать оставила им только долги, а они, кроме Абеля, ничего не зарабатывали.

Супруги Фуше полагали, что, если они, как обычно, снимут на лето домик в окрестностях Парижа, им не избежать встреч с Виктором Гюго. Они решили уехать в Дрё. От Парижа до этого городка надо было ехать дилижансом, заплатив за место двадцать пять франков, а у Виктора Гюго не было двадцати пяти франков. Но они забыли, что он обладал железной волей, которая важнее денег, и вдобавок склонностью к приключениям. Господа Фуше отправились с дочерью в дилижансе 15 июля, Виктор Гюго последовал за ними 16 июля.

### *Виктор Гюго – Альфреду де Виньи, 20 июля 1821 года*

Весь путь я прошел пешком, под знойным солнцем, и нигде на дорогах не было ни малейшей тени. Я измучился, но горжусь, что отмахал «на своих двоих» двадцать лье; на всех, кто проезжает в экипажах, смотрю с жалостью; если бы вы сейчас были со мною, перед вами было бы самое дерзкое двуногое существо... Я очень многим обязан этому путешествию, Альфред. Оно несколько отвлекло меня. Я истомился в нашем унылом доме...

На один день он остановился в Версале у Гаспара де Понса, затем отдохнул в долине Шеризи, где написал элегию в ламартиновском духе о страданиях благородного и чистого сердца:

...Как черный кипарис, что высится в долине,  
Безрадостен и одинок,  
Влачит он век свой безотрадный;  
Увы, он не обвит лозой виноградной,  
И не ему, увы, улыбку шлет цветок<sup>30</sup>.

Жалоба искренняя, тон условный. В сущности, он радовался этому путешествию, радовался своей молодости, сознанию своей силы, наслаждался купаньем в реке в тени берез, красотой пейзажа и встречающимся руинам. 19 июля он уже был в Дрё, взбирался на старые башни, воздвигнутые на холме с обрывистыми склонами, и восхищался «погребальной часовней гер-

<sup>30</sup> Виктор Гюго. В долине Шеризи («Оды и баллады»). Перевод М. Донского.

цогов Орлеанских... Эта белая недостроенная часовня контрастирует с черной и разрушенной крепостью; эта усыпальница возвышается над развалинами дворца...». Вкусы поэта уже определились: «Руины и зелень, черное и белое, символическое истолкование контраста между прошлым и будущим...»

Он твердо решил совершать прогулки до тех пор, пока не встретит Адели и ее отца. Городок Дрё невелик, и желанная встреча наконец произошла. *Адель – Виктору* (карандашом): «Друг мой, что ты здесь делаешь? Глазам своим не верю. Никак не могу поговорить с тобой. Пишу тайком, чтобы предупредить: будь осторожен и помни, что я по-прежнему твоя жена...»

### ***Виктор Гюго – Пьеру Фуше, 20 июля 1821 года***

Сударь, я имел удовольствие видеть вас сегодня здесь, в Дрё, и подумал, уж не сон ли это. Полагаю, что вы меня не заметили. Я принял тысячи мелких предосторожностей, чтобы этого не случилось; но, поскольку возможно, что, так или иначе, вы в один из ближайших дней встретите меня и что мое присутствие здесь может быть по-разному истолковано, я считаю приличным и честным предупредить вас о нем... Нам остается только выразить удивление самой удивительной из всех случайностей... Все мои намерения чисты. Я должен сказать откровенно, что для меня было большим удовольствием неожиданно увидеть вашу дочь...

Вымысел простодушный и прозрачный, но он, конечно, растрогал такого славного человека, как Пьер Фуше. Ведь он знал Виктора еще младенцем, «худеньким, хилым и как будто совсем не желающим жить». А теперь перед ним был здоровый, цветущий юноша, полный самообладания и выражающий свою любовь красноречиво и уверенно. Господин Фуше считал невозможным отказать в приеме сыну своих старых друзей, да еще в такие дни, когда его постигла горестная утрата; он принял Виктора в присутствии дочери и жены и спросил, каковы его намерения. А Виктор хотел только одного – жениться на любимой девушке; он заявил, что верит в свое будущее: ведь он начал большой роман в духе Вальтера Скотта – «Ган Исландец», и книга эта, понятно, будет распродаваться хорошо; правительство короля обязано выполнить свой долг перед поэтом-роялистом и назначить ему пенсию; от генерала Гюго он получит согласие на брак. Все это было сомнительно, но Адель и Виктор любили друг друга. Пьер Фуше решил, что помолвка не будет объявлена, двери дома пока еще не открыты для жениха, но невесте разрешается переписываться с ним.

Виктор Гюго, преисполненный радости, отправился в Монфор-л'Амори и первую половину августа провел у своего приятеля поэта Сен-Вальри, дружившего со всем кружком Дешана; об этом любезном великане Александр Дюма говорил: «Когда он промочит ноги, то насморк у него случится только на следующий год». Сен-Вальри, восхищавшийся Виктором Гюго, радушно принял его в своей семье. Из Монфора-л'Амори, а затем из Ла-Рош-Гийона, где он гостил у герцога де Рогана, Виктор несколько раз писал своему будущему тестю.

### ***Виктор Гюго – Пьеру Фуше, 3 августа 1821 года***

Нет, каково бы ни было будущее, каковы бы ни были события, не станем терять надежды: надежда – это нравственная сила. Сделаем все, чтобы достичь счастья благородными путями, и, если нас постигнет неудача, мы сможем упрекать за это лишь Господа Бога. Не пугайтесь экзальтированности моих мыслей. Вспомните, какое огромное горе мне пришлось изведать, а теперь все мое будущее, как я вижу, стоит под вопросом, и все же я не падаю

духом. Быть может, для вашей дочери было бы лучше, если б она отдала свою привязанность человеку ловкому, изворотливому, который живо протянет руку к дарам Фортуны... Но разве подобный человек любил бы ее так, как она того заслуживает? Может ли сердце испытывать истинную нежность, если нет в нем энергии? Я задаю Адели эти вопросы с трепетом, ибо знаю, что не могу ей дать иного залога счастья, кроме несказанного желания сделать ее счастливой...

Пьер Фуше ответил: «Человек изворотливый – весьма нежелательный гость в честной семье». Казалось, он хотел ободрить Виктора.

Герцогу де Рогану, провожавшему госпожу Гюго до места последнего упокоения, было в то время лет тридцать, и он считался маленьким государем Бретани, где в его владении находились Жослен и Понтиви. В январе 1815 года жизнь его была сломлена ужасной трагедией. Его молодая жена, одеваясь на бал, подошла к топившемуся камину, кружевное платье вспыхнуло на ней, и она умерла от ожогов, сохраняя до конца героическое смирение. Герцог поступил тогда в духовную семинарию Сен-Сюльпис, хотя установленные там строгие правила были тяжки для человека слабого здоровья, хрупкого, как женщина. Аббат де Роган обладал врожденным пониманием красоты и добра. После первых же опубликованных стихов Ламартина он просил передать поэту, что был бы счастлив стать его другом. К Гюго аббата тоже привлекло восхищение его стихами. После похорон матери Виктор Гюго пошел поблагодарить де Рогана, и тот принял его просто и сердечно. Он говорил, что у него есть одно-единственное честолюбивое стремление – сделаться приходским священником в какой-нибудь деревне родного края, и это очень понравилось поэту. Угадав в нем натуру религиозную, хотя этот юноша почти ничего не знал о религии, Роган решил подыскать для него духовника: «Вам нужен духовный наставник; я найду его вам», – и он повел Гюго к аббату Фрейсину. Этот священник, человек светский, был в большой моде, пользовался благоволением двора и теперь красноречиво разъяснил юноше, обратившемуся к нему, что его долг – достичь успеха и поставить сей успех на службу веры христианской. Столь удобная религия не понравилась неопиту, и, выйдя от наставника, он сказал Рогану, что аббат Фрейсину никогда не будет его духовным руководителем. Тогда Роган познакомил своего подопечного с Ламенне, и на Гюго большое впечатление произвели его поношенный сюртук, синие чулки из грубой шерсти, деревенские башмаки. Ламенне стал для него не только духовником, но и другом, в котором он любил его ворчливую прямооту. С Ламенне поэт познакомился еще в ту пору, когда этот мыслитель был полон благожелательности и нежных чувств к людям; вскоре, однако, преследования обратили его в существо «нервное и раздражительное», каким Ламенне стал в тридцатые годы XIX века.

Ла-Рош-Гийон находился на берегу Сены, это был замок эпохи Возрождения, с великолепными резными панелями на стенах и чудесными гобеленами. Хозяин казался «божественно» любезным; несомненная доброта души сочеталась у него с удивительным обаянием, но кое-что оставалось в нем от прежних его аристократических повадок. Когда этот аббат смотрелся в зеркало, приглаживая свои густые тонкие волосы, он иной раз не мог удержаться от лукавого и кокетливого взгляда. Настоящий стендалевский епископ. Виктору была отведена в замке великолепная комната, и прислуживала ему целая армия угодливых слуг. Каким резким контрастом показалось ему парижское его жилище, когда он, возвратившись из поездки, должен был съехать с квартиры на улице Мезьер и поселиться на чердаке дома № 30 по улице Драгон вместе со своим родственником, приехавшим из Нанта, – Адольфом Требюше. Три брата Гюго, покинутые отцом, пытались сблизиться с родней по материнской линии. Абель, Эжен и Виктор написали коллективное письмо своему дяде, господину Требюше: «Дорогой дядюшка, разрешите вашим парижским родственникам присоединить свои наилучшие пожелания к тем, которые выразят ваши близкие в Нанте, и поздравить вас с днем рождения вместе со всеми вашими детьми... Мы знаем вас по Адольфу и живо чувствуем, как нам не хватает вас

в часы наших удовольствий... Адольф такой славный, такой веселый, такой любезный юноша. Счастливы отцы, которые, подобно вам, могут гордиться добрыми качествами своих детей».

Виктор Гюго и его двоюродный брат «сняли сообща мансарду из двух комнат. Одна была их гостиной; вся роскошь ее состояла в мраморном камине, над которым висела на стене Золотая лилия – премия, полученная на литературном конкурсе в Тулузе. Вторая комната – узенькая полутемная кухня, в которой с трудом поместились две койки, – служила спальней... Плащаной шкаф был один на двоих – больше чем достаточно для Виктора, так как у него имелось только три рубашки».

Позднее Гюго изобразил под именем Мариуса того юношу, каким он был сам на улице Драгон:

Высокий и умный лоб, глубоко вырезанные и раздувающиеся ноздри, облик искренний и спокойный, что-то надменное, задумчивое и невинное в выражении лица... В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут... Нищета держала его в своих лапах. Было такое время в жизни Мариуса, когда он подметал лестничную площадку перед своей дверью, покупал в зеленой на одно су сыру бри... Одной отбивной котлетой, которую он жарил сам, он питался три дня: в первый день он съедал мясо, во второй день съедал жир, на третий день обглаживал косточку...<sup>31</sup>

Но и в дни нищеты Гюго сохранял строгое достоинство, уважал себя и внушал другим уважение к себе. Будучи монархистом, он, однако, без колебаний предложил убежище молодому своему приятелю, республиканцу Делону, которого искала полиция. Покойная мать научила его покровительствовать преследуемым.

Все было бы сносным, будь он счастлив в любви, но между ним и невестой вновь начались ссоры в духе размолвок мольеровских влюбленных. Адель обижалась из-за пустяков, воображала, что он «презирает» ее; Виктор вспыхивал при каждом слове, пробуждавшем у него ревность. Он вдруг принялся нападать на Жюли Дювидаль де Монферье, подругу Адели, преподававшую рисование, очень талантливую художницу, и в его яростных нападках сказывались предрассудки, которые внушила ему мать.

### ***Виктор Гюго – Адели Фуше, 3 февраля 1822 года***

Эта молодая особа имела несчастье стать художницей – обстоятельство вполне достаточное, чтобы погубить ее репутацию. Стоит лишь женщине отдать себя во власть публики в каком-нибудь одном отношении, и публика решит, что эта женщина ей принадлежит во всем. Да и как можно предполагать, чтобы молодая девушка сохранила чистоту воображения и, следовательно, нравственную чистоту после тех учебных этюдов, которых требует живопись, этюдов, для которых надо прежде всего отречься от стыдливости?.. А кроме того, подобает ли женщине опуститься и войти в артистический мир, в тот мир, где так же, как она, находят себе место и актрисы и танцовщицы?..

Подобная суровость удручала бедняжку Адель. «Смилуйся надо мной, – писала она, – люби меня мирно, спокойно, – так, как ты и должен любить свою жену». И она пишет также: «Страсть – это нечто излишнее, она недолговечна; так я, по крайней мере, слышала от людей...» Высказывания милые и забавные, но у Виктора Гюго не было ни малейшего чувства

---

<sup>31</sup> Виктор Гюго. Отверженные.

юмора. Юноша серьезный, торжественный, он в ответ прочел невесте целый курс о роли страсти в любви.

### **Виктор Гюго – Адели Фуше, 20 октября 1821 года**

Любовь, по мнению света, – это плотское вожделение или смутная склонность, которую обладание гасит, а разлука уничтожает. Вот почему ты и слышала, при столь странном понимании этих слов, что *страсти недолговечны*. Увы, Адель! Знаешь ли ты, что и слово *страсти* означает – *страдания*? И неужели ты искренне веришь, что в обычной любви мужчин, столь бурной с виду и столь слабой в действительности, есть хоть сколько-нибудь страдания? Нет, любовь духовная длится вечно, ибо существо, испытывающее ее, бессмертно. Любовь – это влечение души, а не тела. Заметь, что тут ничего нельзя доводить до крайности. Я вовсе не говорю, что тело не имеет никакого значения в главнейшей из всех привязанностей, а иначе для чего бы существовала разница между полами и что мешало бы, например, двум мужчинам пылать друг к другу страстью?

Адель, в сущности, была довольна, что жених обожает ее, но тревожилась за будущее. Справится ли она с ролью великой возлюбленной, которую он ей предназначил? «Виктор, я должна тебе сказать, что напрасно ты полагаешь, будто я стою выше других женщин...» В самом деле, напрасно страстно влюбленные мужчины возносят любимую женщину на недоступную ей вершину, – при таком положении у нее может закружиться голова, и она упадет. Что касается родителей невесты, они иной раз тоже пугались бурных чувств жениха. Как-то раз вечером на улице Шерш-Миди, куда Адель умолила пригласить Виктора, зашел разговор об адюльтере, и тут в словах Гюго прозвучала настоящая свирепость. Он утверждал, что обманутый муж должен убить или покончить с собой. Адель возмутилась: «Какая нетерпимость! Ты бы сам стал палачом, если бы его не нашлось... Что за участь меня ждет? Право, уж не знаю... Не скрою от тебя: все мои родные испугались... Когда-нибудь мне придется трепетать перед тобой...» Он подтверждает свою точку зрения: «Я спросил себя, прав ли я, и не только не мог осудить свою недоверчивую ревность, но считаю, что в ней-то и есть самая суть той целомудренной, исключительной, чистой любви, которую я питаю к тебе и которую, боюсь, не сумел внушить тебе... Поверь – кто любит всех женщин, не ревнует ни одну...»

А вот и еще разногласие между ними. Кроме любви, для Гюго значение имел только его труд, и он пытался привлечь к нему любимую. Но она откровенно говорила, что ничего не понимает в поэзии: «Признаюсь тебе, твой ум и талант, который, возможно, есть у тебя и который я, к несчастью, не умею ценить, не производят на меня ни малейшего впечатления...» Эти слова вызывали у него улыбку: «Ты говоришь, Адель, что когда-нибудь я замечу, как мало ты знаешь, и почувствую эту пустоту... Ты мне однажды уже сказала с очаровательной простотой, что ничего не смыслишь в поэзии... А что такое поэзия, Адель? Определи в двух словах: поэзия – это отражение добродетели; прекрасная душа и прекрасный талант почти всегда нераздельны. Ну и вот, ты должна понимать поэзию, она исходит из души, она может проявляться и в прекрасном поступке, и в прекрасных стихах...» Пусть же Адель, унижая себя, не заставляет его защищать свою будущую жену от нее самой. «Ты уверяешь, что я понимаю поэзию, – писала она, – но ведь я никогда не могла написать ни одного стихотворения. А разве стихи не поэзия?..» На это он терпеливо отвечает: «Когда я сказал, что твоя душа понимает поэзию, я лишь открыл тебе одно из небесных ее дарований. „Разве стихи не поэзия?“ – спрашиваешь ты. Стихи сами по себе еще не поэзия. Поэзия – в идеях; идеи исходят из души. Стихотворная форма – это лишь изящная одежда, облекающая прекрасное тело. Поэзия может быть

выражена и прозой; она только становится более совершенной благодаря прелести и величию стиха...» Многообещающее начало назидательных уроков в будущие вечера семейной жизни.

Ради своей любви он принес большую жертву: сблизился со своим отцом. А ведь ему казалось, что таким образом он изменяет памяти обожаемой матери. «Я робок и горд, а вынужден просить; я хотел возвысить литературу, а работаю ради денег; я, любящий сын, чту память своей матери, а забываю мать, ибо пишу отцу...» Однако при ближайшем знакомстве отец оказался лучше, чем его рисовала оскорбленная «мадам Требюше». Генерал Гюго был очень славным человеком, к тому же он любил поэзию, сам писал новеллы и с превеликой скромностью считал их недостойными опубликования. Поняв, что сыновья, вопреки своим обещаниям, не занимаются юриспруденцией, он милостиво согласился, чтобы они избрали чисто литературное поприще.

### *Генерал Гюго – сыну Виктору, 19 ноября 1821 года*

Я прекрасно знал, что ни ты, ни Эжен не проявляете усердия в посещении лекций, и все ждал, когда же вы мне сообщите причину вашего небрежения. Я не могу все приписать даже той уважительной причине, какую вы приводите в свое оправдание, и думаю, что надо искать ее в вашей прирожденной любви к литературе, в твоей склонности к поэзии, Виктор, – склонности, за которую я так бранил вашего дядю Жюста, ибо она отвращала его от обязанностей по службе; склонность эта весьма часто овладевает и мною, но у тебя-то она оправдана поистине превосходными стихами. Ты зачат не на Пинде, но на одной из самых высоких вершин Вогезов, в пути из Люневиля в Безансон, и как будто чувствуешь свое почти воздушное происхождение – твоя Муза всегда возвышенна в тех творениях, кои я видел...

У Виктора Гюго вошло в привычку посылать отцу свои оды: генерал хвалил их, делая, однако, наивные и педантические замечания о форме стихов. В отношении денег он проявил щедрость и, оплакивая свои замки в Испании и потерянную субсидию, все же оказывал сыновьям помощь в меру своих возможностей. Возможности эти возросли бы, говорил он, если бы правительство увеличило ему сумму пенсии, на что он имеет право, и Виктор, друг Шатобриана, могущественного в те годы, должен в этом помочь отцу. Итак, Виктор стал покровителем отца, и вскоре отношения их сделались такими сердечными, что генерал пригласил его приехать поработать в Блуа, где он купил совместно с женой просторный загородный дом – бывшее владение монастыря Сен-Лазар. Но чтобы воспользоваться приглашением, следовало признать своей родственницей вторую жену генерала Гюго, а сыновья от первой жены еще не были согласны на это.

Так же как и отца, Виктора Гюго очень тревожило здоровье Эжена. Насколько Абель был юношей спокойным и положительным, настолько Эжен давно был подвержен приступам ярости. Несомненно, что в их роду были характеры буйные, с болезненным воображением, видевшим вокруг всякие ужасы. Но у Эжена, особенно после смерти матери, эти опасные черты развились так сильно, что вызывали беспокойство. Стихи своего брата он критиковал с такой завистливой злобой, что это коробило Феликса Бискара. Он где-то пропадал целыми днями, не проявлял больше ни малейшей привязанности к братьям, писал отцу гнусные письма, которые Виктор старался как-то извинить: «Подождем судить, дорогой папа. У Эжена доброе сердце, он признает свою вину...»

А истина была в том, что Эжен сходил с ума от ревности и в поисках облегчения давал волю приступам бешенства. Он не мог перенести мысли, что в скором времени его брат женится на Адели, и доходил до того, что говорил Виктору ужасные вещи о его невесте.

***Виктор Гюго – Адели Фуше, 30 ноября 1821 года***

В отвратительном свете предстал передо мной характер человека, которому я еще вчера был глубоко предан, человека, ради будущности которого я отчасти пожертвовал своей будущностью, человека, которому я отдавал плоды своего труда и бессонных ночей, хотя должен был считать их твоим достоянием. До сей поры я все ему прощал, в его низкой зависти, в его злобных и подлых выходках я видел лишь неприятные странности желчной натуры... Боже мой! Если б я сказал тебе, какого имени он заслуживает! Нет, я этого не скажу тебе, я не хотел бы и самому себе это сказать... Ты не понимаешь меня, моя Адель, ты удивляешься, что твой Виктор охвачен таким бурным негодованием и так неумолим к проступку брата. Адель, ты не знаешь, что он мне сделал. Я все ему прощал и впредь прощал бы, – все, кроме этого. Лучше уж он зарезал бы меня во сне. *На свете есть только одно существо*, в отношении которого я не могу простить ни малейшего оскорбления и даже намерения оскорбить, – и конечно, я говорю не о себе! Как посмел этот негодяй коснуться самого дорогого, самого святого для меня? Зачем вздумал он отнять у меня мое достояние, мою жизнь, единственное мое сокровище? Ах, если бы это был чужой мне человек!..

И все же он простил. Справедливость не позволила ему считать брата вполне ответственным за его выходки, – ведь порою казалось, что Эжен сам не сознает, что говорит.

## V

### Хотеть – это мочь

*Пора мечтаний, и силы, и благодарения!.. Быть чистым, быть сильным, быть возвышенным и верить в чистоту людей...*

**Виктор Гюго**

Больше шести месяцев прошло со времени помолвки в Дрё, и вокруг семейства Фуше опять пошли сплетни. Дядюшка невесты, господин Асселин, человек неблагожелательный, старший брат Фуше – Виктор, приятели и кумушки говорили, что Адель серьезно компрометирует себя, принимая ухаживания юноши, который ничего не делает, не умеет заработать на жизнь и даже не может добиться согласия своего отца. Невеста прониклась всякими сомнениями, стала настойчивой: «Я вижу, Виктор, когда рассуждаю не в шутку, что у нас очень мало оснований считать нашу женитьбу возможной. Пойми положение моих родителей: они не видят ничего определенного...» Жалобы Адели были кроткими и носили мещанский характер; Виктор по самому складу своей натуры вставал в таких случаях в позу гордого испанца: «Я пойду к твоим родителям и скажу им: „*Прощайте, вы увидите меня, лишь когда я добьюсь независимого положения и согласия моего отца, или не увидите вовсе...*“» Затем он описывал с горечью, что должно засим последовать. Он умрет, и «когда-нибудь, Адель, ты встанешь с постели женою другого; тогда ты возьмешь все мои письма и сожжешь их, чтобы не сохранилось никакого следа, оставленного моей душой на земле». И тотчас Адель с упорством практичной женщины возвращала его на землю: «Какие огромные препятствия стоят перед нашей любовью, особенно если ты намерен предоставить событиям идти своим чередом...» А в другом письме она говорит: «Да, друг мой, я довольна, что ты работал... Пожалуй, я еще более была бы довольна, если бы видела в твоей работе больше последовательности. Мне кажется, что, за исключением иных случаев, которые нельзя предвидеть, не следует начинать новую вещь, пока не окончена та, над которой ты уже трудишься. Вот я какая придира!...»

Все эти сомнения вызвали в нем вспышку гордости.

#### ***Виктор Гюго – Адели Фуше, 8 января 1822 года***

Не спрашивай меня, дорогая Адель, отчего я так уверен, что создам себе независимое существование, – ведь тогда ты заставишь меня заговорить о некоем *Викторе Гюго*, которого ты не знаешь и с которым *твой Виктор* нисколько не стремился познакомить тебя. У этого Виктора Гюго есть и друзья и враги; военное звание отца дает ему право появляться всюду и быть на равной ноге со всеми; несколькими своим опытом, хоть и слабым еще, он обязан преимуществами и неудобствами ранней известности; во всех гостиных, где он появляется чрезвычайно редко, люди, судя по его печальному и холодному лицу, полагают, что он занят какими-то важными замыслами, меж тем как он поглощен мечтами о юной девушке, кроткой, очаровательной, добродетельной и, к счастью для нее, неизвестной в гостиных.

Мне очень часто говорили, да говорят еще и сейчас (чересчур смело, конечно), что я призван к какой-то блистательной славе (повторяю эту гиперболу в точности); а сам я полагаю, что создан я для семейного счастья. Однако, если нужно пройти через известность, чтобы достичь этого счастья, я видел бы в славе лишь средство, а не цель. Я жил бы вне этой славы, хотя и

относился бы к ней с почтением, как должно всегда относиться к славе. Если она придет ко мне, как это предсказывают, скажу, что я не надеялся на нее и не желал ее, ибо все мои надежды и желания я отдал тебе одной...

Но почему, спрашивается, их брак невозможен или еще очень далек? Субсидия ведь обещана министром. «Очень возможно, друг мой, что через несколько месяцев мне предоставят какое-то место с окладом в две-три тысячи франков, и тогда с теми деньгами, которые принесет мне еще и литература, разве мы не сможем жить тихо и мирно, в уверенности, что наши доходы будут возрастать по мере того, как будет увеличиваться наша семья?..» Согласие генерала Гюго? «Но скажи мне, почему отец, увидав, что я достиг независимости, отказался бы сделать меня счастливым?.. Отец мой человек слабый, но, несомненно, добрый. Если сыновья выразят ему искреннюю привязанность, они могут оказать на него большое влияние... Я надеюсь, что, после того как отец сделал мою мать несчастной, он не захочет обречь и меня на несчастную жизнь. Придет день, Адель, когда мы с тобой будем жить под одной кровлей, в одной комнате, и ты будешь засыпать в моих объятиях... Радости супружества станут нашим долгом и нашим правом...»

Мечты, чаровавшие пылкого юношу, который читал и создавал любовные стихи, но жил в строжайшем целомудрии. Он хотел, чтобы это тоже стало достоинством в глазах его невесты: «Я счел бы заурядной женщиной (то есть довольно ничтожным созданием) ту молодую девушку, которая вышла бы замуж за молодого человека, не будучи убежденной и по его принципам, известным ей, и по его характеру, что он не только человек *благоразумный*, но – употребляю тут слово в полном его смысле – что он *девственник*, как девственна она сама...» Но реакция со стороны Адели была неожиданной: разве можно говорить о таких «необычайных вещах» с благовоспитанной девушкой? *Разумеется, можно*, отвечал пылкий жених: «Я тебе доказал, как велика твоя власть надо мной, ибо один лишь образ твой сильнее всех волнений чувств, свойственных моему возрасту; я тебе сказал, что человек, настолько бессовестный, что он, нечистый, испачканный, готов соединить свою жизнь с чистой, непорочной девушкой, достоин презрения и негодования... Будь я женщиной и если бы мой суженый сказал мне: „Ты была мне оплотом против всех других женщин, ты первая женщина, кого я сжимал в своих объятиях, единственная, кого я буду обнимать; я с наслаждением привлекаю тебя к своей груди, я с ужасом и отвращением оттолкнул бы всякую другую женщину“, – мне кажется, Адель, что, будь я женщиной, подобные признания любимого отнюдь не были бы мне неприятны. Но может быть, ты не любишь меня?..» Нет, она любила его – как истая дочь супругов Фуше, то есть гораздо проще.

Восьмого марта 1822 года, подхлестываемый ею, Гюго решился наконец просить у своего отца согласия на брак. Письмо он показал невесте, и та нашла, что оно написано очень хорошо. За исключением ее портрета, ибо Виктор изобразил ее сущим ангелом: «Во мне же нет ничего ангельского, выкинь, пожалуйста, эту мысль из своей головы, я – земная». О, чудесный реализм женщин! Затем она попыталась объяснить ему, что для нее счастье дороже славы: «Как ты можешь говорить мне, что я должна считать мой брак с тобой лестным для себя только по тем соображениям, что *твой отец имеет высокий ранг*? Ужасное заблуждение с твоей стороны! Какое мне дело до всяких рангов и званий?.. Заявляю тебе, что это твое важнейшее соображение для меня самое последнее. Помни, мне все равно, стану ли я женой академика, лишь бы я была твоей женой, и пойми – имеет ли для меня значение, что я буду снохой генерала...»

Прошло несколько дней тревожного ожидания. Влюбленные говорили, что, если отец не даст согласия, они убегут и поженятся в какой-нибудь чужой стране. На этот раз благовоспитанная девица с улицы Шерш-Миди поднялась до высоты страсти. Напрасные дерзновения: в ответе генерала Гюго, в общем благоразумном, дано было согласие с определенными оговорками. Он совсем не порицал привязанность сына к Адели Фуше: «общественный ранг» супругов Фуше, старых его друзей, он считал вполне достаточным; куда больше его беспокоило то,

что ни у жениха, ни у невесты нет никакого состояния. Ах, если б у него были те миллионы реалов, которые обещал ему Жозеф Бонапарт! Но у него ничего не было. «Из сего следует, что прежде, чем думать о женитьбе, тебе надо приобрести профессию или получить должность, а я не считаю таковыми литературное поприще, как бы ни были блестящи твои первые на нем шаги. Когда ты исполнишь то или другое условие, я охотно помогу тебе осуществить твое желание, коему я нисколько не противлюсь...» В этом послании было только одно темное облачко: генерал настойчиво говорил о «теперешней своей супруге». Чтобы сохранить его благоволение, необходимо было признать его второй брак, что Виктор Гюго и сделал с большим тактом и обычным своим достоинством.

Наступило лето, а в летнюю пору Фуше обычно уезжали из Парижа. Было решено, что они снимут дом в Жантильи и что Виктор Гюго, теперь уже признанный жених, будет туда приглашен, но для приличия его поместят на голубятне. Госпожа Фуше ждала тогда четвертого ребенка, «поздний плод супружеской любви», и беременность эту переносила тяжело.

### *Адель – Виктору*

Если мама подарит нам братца, должна ли я уговаривать ее, чтобы она сама его кормила?.. Мама уже в таком возрасте, что не может одна ухаживать за малюткой, и мне придется пробыть в семье еще года два по меньшей мере. Если ты полагаешь, что я обязана остаться дома на это время, тогда я посоветую маме не отдавать его кормилице... Скажи откровенно, как ты думаешь. Нас всех кормили дома, и я хотела бы, чтобы так было и с этим крошкой... Это во многом зависит от меня. Я хочу, чтобы ты выразил свою волю...

Что ответил Гюго на этот вопрос, нам неизвестно; вероятно, он не имел никаких возражений против того, чтобы его будущего шурина отдали кормилице.

### *Адель – Виктору*

Так, значит, ты приедешь в Жантильи! Какое счастье!.. Буду видеть тебя каждый день, каждый день буду говорить с тобой. Если мы поспорим из-за чего-нибудь, то размолвка наша будет короткой. Когда я выйду утром в сад, а ты будешь у себя на голубятне, мы поздороваемся друг с другом. Но гулять нам вдвоем в саду без мамы нельзя. Так приказано... Придется уважить родителей, они наложили запрет, полагая, что так должно быть...

Виктор Гюго выразил в ответном письме свою радость, затем вспомнил свою замечательную мать: «Соединив нас, она-то уж не вздумала бы ставить между нами такие странные и почти что оскорбительные преграды. Уважая нас обоих, она считала бы унижением для себя стеснять нашу свободу. Наоборот, она пожелала бы, чтобы в возвышенных душевных беседах мы оба готовились к святой близости в браке... Как было бы мне сладостно наедине с тобой бродить в вечернем сумраке вдали от всякого шума под деревьями, среди лужаек. Ведь в такие минуты душе открываются чувства, неведомые большинству людей...»

Несмотря на то что вечера приходилось проводить в кругу семьи, «в постоянном стеснении», он с наслаждением «вкушает счастье в Жантильи», дни покоя, упоения и тайн, когда Адель украдкой навещала жениха на его башне и позволяла ему сорвать поцелуй с ее уст, обнять ее. Ах, почему двое любящих не могут провести жизнь в объятиях друг друга? Но для того чтобы упрочить счастье Жантильи, надо было преуспеть. И вот Виктор Гюго торопил изда-

ние своих «Од» отдельным томом. Сборник был напечатан на средства щедрого Абеля и был доверен для продажи книжной лавке Пелисье, находившейся на площади Пале-Рояль, причем Абель сделал брату деликатный сюрприз, послав ему оттиски корректуры. Томик появился в июне, в зеленовато-серой обложке, тиражом в полторы тысячи экземпляров. Автору причиталось по пятидесяти сантимов с экземпляра, то есть семьсот пятьдесят франков за все издание. Первый экземпляр, как и подобало, он преподнес невесте: *«Моей любимой Адели, ангелу, в котором вся моя слава и все мое счастье. – Виктор»*.

Эта первая книга поэта называлась: «Оды и другие стихотворения». В предисловии подчеркивалась политическая направленность автора. Убедившись, что французскую оду справедливо обвиняют в холодности и однообразии, он поставил своей задачей «привлечь к ней интерес не столько формой, сколько вложенными в нее идеалами... История человечества исполнена поэзии лишь в свете монархических идей и религиозных верований...». Большинство стихотворений, включенных в сборник, были написаны в благонамеренном тоне и посвящены историческим темам. Эти «изящные упражнения старательного и весьма одаренного школьника...» воспевали «Восстановление статуи Генриха IV», «Рождение герцога Бордоского», оплакивали «Смерть герцога Беррийского», и все эти «заказные» стихи недостойны были юноши, который следовал в Италии и в Испании за победоносными орлами Наполеона, видел возвышение и падение императора и еще подростком был свидетелем опал и смертей. Читателей либеральных взглядов возмущали апострофы, прозопопеи и другие риторические фигуры в произведениях юного *ультрароялиста*, и они не склонны были признавать поэтические достоинства его од.

Роялистская пресса, на которую он рассчитывал, не откликнулась на сборник. Статей было очень мало. Литературная критика занимала тогда весьма скромное место, а Гюго почитал «недостойным всякого уважающего себя человека обыкновение нынешних литераторов выпрашивать у журналистов похвальные отзывы. Я пошлю свою книгу в газеты; они скажут о ней, если сочтут это уместным, но я не буду кланяться у них похвал в виде милостыни...». Ламенне одобрил его: «Мне нравятся ваша прямота, ваша откровенность и ваши высокие чувства, – нравятся еще больше, чем ваш талант, хотя и он мне очень нравится... Да бог мой! Что такое эта суетная шумиха, именуемая славой, известностью, так быстро угасающая в тишине могилы...» Однако ж книга расходилась неплохо, и это ободряло автора, ибо приближало день его свадьбы. Теперь уж Адель сама дерзала навещать одна, без провожатых, своего заболевшего жениха в его парижской мансарде. «Пусть говорят что хотят, мне все равно... В иных случаях я без угрызений совести способна пойти против родительской воли...» Но чтобы принадлежать друг другу, они ждали свадьбы. *Адель – Виктору*: «Еще три месяца, и я всегда буду возле тебя... И стоит нам подумать тогда, что мы не сделали ничего недостойного, что мы могли бы раньше быть вместе, но предпочли такому блаженству уважение к самим себе, – мы, конечно, будем от этого сознания еще счастливее...»

Три месяца... Адель осмелилась назначить срок, ведь теперь уже ждали только назначения ежегодного пособия. На это дано было твердое обещание, но чиновники в министерстве все тянули: «Они ведут дело о моем пособии именно как „дело“, не подозревая, что речь идет о человеческом счастье...» Очаровательная фраза. Наконец вмешался аббат герцог де Роган, добился поддержки герцогини Беррийской, и 18 июля 1822 года Виктор Гюго мог написать отцу, что все наконец благополучно завершилось: пособие назначено в сумме тысяча двести франков в год из королевской казны. Такую же субсидию обещало ему и министерство внутренних дел. Добавив к гарантированным пособиям ту сумму, которую дадут поэту литературные гонорары, молодые супруги могли просуществовать, тем более что добрые родители предлагали дочери и зятю жить вместе с ними. Генерал Гюго тотчас написал официальное письмо: «Виктор поручил мне просить у вас для него руки той молодой особы, счастье которой он надеется составить и от которой сам ждет счастья...» Господин Фуше ответил любезным письмом.

Он хвалил любовь к порядку и серьезность Виктора, радовался, что возобновятся давнишние узы дружбы с генералом Гюго, и выражал сожаление, что не сможет дать за дочь большого приданого. Она получит «две тысячи франков – мебелью, одеждой и деньгами», и молодые супруги будут жить в Тулузском подворье до тех пор, пока не смогут зажить своим домом.

Теперь не хватало только свидетельства о крещении жениха. Увы! Его не было. Генерал плохо помнил те далекие дни, но полагал, что его сына не крестили, если только жена не окрестила младенца без ведома отца, что казалось невероятным при ее вольтерьянстве, которое она всегда выказывала. «У Виктора *была религия*, но не какая-нибудь *определенная религия*». Генерал Гюго подсказал выход: «Меня уверяют, что если сделать викарию Сен-Сюльпис заявление, что ты был крещен в чужой стране заботами матери и в отсутствие отца, но тебе неизвестно, где это произошло, то священник вторично окрестит тебя в присутствии крестного отца и крестной матери по твоему выбору... После этого ты немедленно пойдешь к первому причастию, и больше уже не будет никаких препятствий к тому, чтобы тебя обвенчали в церкви...» Неприятное мошенничество. Однако казалось невозможным признаться благочестивым супругам Фуше, что Софи Гюго воздержалась «совершить над сыном таинство, которое делает человека христианином». По совету своего «знаменитого друга», господина де Ламенне, Виктор попросил отца удостоверить, что его сын был крещен в Италии. Генерал удостоверял все, что требовалось, а Ламенне выдал свидетельство об исповеди. 12 октября 1822 года в соборе Сен-Сюльпис было совершено бракосочетание – венчал аббат герцог де Роган. Свидетелями со стороны жениха были Альфред де Виньи и Феликс Бискара, возвратившийся из Нанта и ликовавший, что он вновь встретится с двумя своими любимыми учениками; со стороны невесты свидетелями были ее дядя Жан-Батист Асселин и маркиз Дювидаль де Монферье. Генерал Гюго на свадьбу не приехал.

Свадебный обед устроили в доме Фуше, потом состоялся бал в большом зале военного совета, том самом, где генерал Лагори, крестный отец Виктора, был приговорен к смертной казни. На балу Феликс Бискара, молодой классный наставник с рябоватым лицом, заметил необычайное нервное возбуждение Эжена – он как будто был вне себя и говорил что-то странное. Не привлекая внимания гостей, Бискара предупредил Абея, и они вдвоем увели несчастного; ночью с ним случился настоящий припадок буйного помешательства. Эжен, юноша угрюмого нрава, считавший себя жертвой преследований, был влюблен в Адель, страдал от давней и жестокой ревности и не мог перенести картину торжества своего брата.

К счастью для молодых супругов, им ничего не сказали в тот вечер о случившейся трагедии. Наконец-то свершилось то, чего они ждали столько лет: они провели ночь под одной кровлей и в объятиях друг друга. Для новобрачного, столь целомудренного в своих поступках и наделенного столь пылким воображением, было упоительным счастьем обладать этой девушкой, которая была в его глазах само олицетворение красоты, и стать одним из сыновей в семье Фуше, жить в этом Тулузском подворье, где год тому назад он видел в окно, как его невеста, с цветами в волосах, танцевала в объятиях другого. Покойная мать, обладавшая сильной волей, учила его, что можно подчинять себе события. Какой путь он прошел за истекший год? В двадцать лет он уже был на пороге славы; его читали и старик-король, и молодые люди; министерство назначило ему пособие; поэты уважали его. Упорной борьбой он завоевал свою избранницу, он вновь обрел привязанность отца, всех заставил признать, что его выбор жизненного поприща был верен. После стольких несчастий все это казалось счастливым сном, полным блаженного сумрака и любви, счастливым сном, в котором неким волшебством исполнились мечты ребенка. Но волшебство творил он сам. Ego Hugo<sup>32</sup>.

Он заслужил эту ночь счастья. Несомненно, в нем жила могучая сила страсти, но он испытывал также потребность сочетать плотские наслаждения с самыми возвышенными чело-

<sup>32</sup> Я Гюго (лат.).

веческими радостями. «Где истинный брак, – сказал он однажды, – там свет идеала. Над брачным ложем во тьме брезжит заря... Это истинное блаженство. Нет других радостей, кроме этих. Любить, испытать любовь – этого достаточно. Не требуйте больше ничего. Вы не найдете иной жемчужины в темных тайниках жизни...» В те времена, когда он писал эти строки, молодая и столь любимая супруга стала грустной, разочарованной женщиной и хотела быть его женой только по имени. Однако даже в этом обманчивом будущем, когда Адель станет *Евой, которую запретный плод не соблазнит*, Гюго никогда не забудет, что однажды, давным-давно, они изведали вместе почти сверхчеловеческое счастье. Адель Фуше мало чем отличалась от многих и многих девушек, но именно такая, какой она была, – наивная, немного упрямая, с художественной жилкой (это доказывают ее рисунки), совсем не глупая, но равнодушная к поэзии, – она помогла рождению поэта. И у него нашлись слова, чтобы сказать, чем он обязан был этим годам тоски и страсти:

О, будь вы молоды, стары, бедны, богаты,  
Но коль по вечерам, тревогою объаты,  
Не вслушивались вы в легчайший шум шагов,  
Коль белый силуэт, мелькнув в аллее спящей,  
Вам сердце не пронзал, как метеор слепящий  
Пронзает на лету угрюмой тьмы покров;

Коль вам пришлось узнать лишь по стихам влюбленных,  
Страданием, радостью и страстью опаленных,  
Блаженство высшее, без меры и границ, —  
Незримо властвовать над чьим-то сердцем милым  
И видеть пред собой, подобные светилам,  
Любимые глаза в тени густых ресниц;

Коль не случилось вам под окнами устало  
Ждать окончания блистательного бала  
И выхода толпы разряженных гостей,  
Чтоб в свете фонаря увидеть на мгновенье  
Прелестного лица весеннее цветенье  
И голубой огонь единственных очей;

Коль не терзались вы ни ревностью, ни мукой,  
Узрев в чужих руках вам дорогую руку,  
Уста соперника у розовой щеки,  
Коль не следили вы с угрюмым напряженьем  
За вальса медленным и чувственным круженьем,  
Срывающим с цветов душистых лепестки...

Коль вам не довелось тогда в тиши дремотной,  
Пока вдали от вас, свежа и беззаботна,  
Она вкушает сон, – метаться и стонать,  
И горько слезы лить, и звать ее часами  
В надежде, что она появится пред вами,  
И горький свой удел бессильно проклинять.

Коль взоры женщины, вам душу обновляя,

Не открывали врат неведомого рая;  
Коль ради той, чьи дни спокойны и легки,  
Кто в ваших горестях лишь ищет развлечений,  
Не приняли бы вы и смерти и мучений, —  
Любви не знали вы, не знали вы тоски!<sup>33</sup>

Бросим последний взгляд на молодого человека с высоким лбом, на юношу, исполненного «опасной девственности», с которым мы расстаемся на пороге спальни новобрачных. Этот прекрасный рыцарь, вступающий в жизнь, верит в свои силы. Он ждет славы и нисколько не сомневается, что слава придет к нему, хотя ему только еще двадцать лет и он уже не раз испытывал чувство отчаяния. «Как это называется, – говорит один из персонажей Жана Жироду, – когда день встает такой вот, как сегодня, и когда все испорчено, все разграблено, а ты все-таки дышишь воздухом, и когда все потеряно, когда город горит, невинные убивают друг друга, но и преступные агонизируют при свете занимающегося дня?» И нищий отвечает: «Этому дано прекрасное имя, жена Нарсеса. Это называется зарей...»

Как же называется то время, когда чувства пылают, а сердце исполнено чистотой; когда гений вот-вот вырвется наружу, но никто еще не постиг его; когда человек чувствует себя сильнее всего мира, но еще не может доказать ему свою силу, когда в едва начавшейся жизни уже столько трагических воспоминаний, а сердце поет в груди; когда человек так нетерпелив и то впадает в отчаяние, то преисполнен надежды? У всего этого прекрасное имя, жена Виктора Гюго, – это называется молодостью.

---

<sup>33</sup> Виктор Гюго. О, будь вы молоды... («Осенние листья»). Перевод Э. Линецкой.

## Часть третья

### Час торжества

*Надо только жить; видеть все как оно есть, а то и совсем  
наоборот.*  
**Сент-Бёв**

## I

### После свадьбы

«Утром после свадьбы новобрачных не тревожат, оберегая покой упоенных друг другом счастливых и отчасти их поздний сон...»<sup>34</sup>

У Адели и Виктора Гюго не было этого спокойного пробуждения. Рано утром взволнованный Бискара постучался в дверь их спальни: состояние Эжена было ужасным. Виктор поспешно собрался, последовал за своим другом и «застал своего бедного товарища детских лет в горячечном бреду». Эжен зажег у себя в комнате все свечи, как на свадьбе, и рубил мебель саблей. Целый месяц Адель и Виктор Гюго, Поль Фуше и кузен Требюше, сменяя друг друга, ухаживали за ним. Пришлось уведомить отца, и генерал тотчас совершил путешествие из Блуа в Париж. «Он не приехал порадоваться счастью, он хотел быть участником горя». Виктор и Адель приветливо встретили «дорогого папу», которому они были обязаны своим браком. «Как иней на солнце, исчезла у сына горькая обида в лучах доброты этого превосходного человека...»

Отцу было тяжело слышать безумный бред красавца-сына, которого он видел в Корсике и в Италии пухленьким и веселым малышом, потом в Мадриде многообещающим учеником коллежа. Он решил – и это делает ему честь – увезти его с собой в Блуа; там к Эжену как будто вернулся на некоторое время рассудок, и он даже написал Виктору, поздравил молодую чету и пожелал ей счастья. Он говорил в этом письме, что отец и «мачеха, госпожа Гюго», очень добры к нему. Увы! Случился новый припадок буйного помешательства, такой серьезный, что больного пришлось отвезти обратно в Париж и поместить в лечебницу доктора Эскироля. Туда нужно было платить по четыреста франков в месяц, такой возможности у семьи не было. Виктор выхлопотал, чтобы его брата поместили за казенный счет в Сен-Морис, к доктору Руайе-Коллару. Врачи находили, что больной неизлечим. Несчастный Эжен стал чем-то вроде живого трупа. Братья редко навещали его. *Эжен Гюго – Виктору, 12 декабря 1823 года*: «Вот я здесь уже семь месяцев, а ты был у меня только один раз, а брат Абель – два раза... Но ведь должно же быть у тебя некоторое желание увидеться со мною, и тебе не трудно было бы удовлетворить его...» Эти слова – такой трагический упрек.

Ужасная судьба брата была для Виктора Гюго постоянной причиной печали и смутных укоров совести. Уж не он ли, восторжествовав над Эженом и в поэзии и в любви, довел его до отчаяния? Он не совершил ни преступления, ни греха против несчастного, и все же тема – братья-враги – стала неотвязно преследовать его. Она возникала во всех формах – в драматургии, в поэзии, в романе. Иногда Каин назывался Сатаной, иногда Клодом Фролло – в «Соборе Парижской Богоматери», Иовом в «Бургграффах»; иногда он появлялся под своим настоящим именем, как, например, в «Совести» или в «Конце Сатаны». А то, что второй брат носил имя Абель (Авель), быть может, укрепляло эту навязчивую мысль. А ведь сам Виктор не сделал

---

<sup>34</sup> Виктор Гюго. Отверженные.

ничего дурного, уж скорее Эжен, мучимый ревностью, играл в отношении его роль Каина. Но всегда Виктор видел в своих кошмарах заживо погребенного, темницу Железной Маски, могилу узников Торквемады. Всегда воображение рисовало ему несчастного, скорчившегося в темноте, под низким сводом. *«О, гений! О, безумие! Ужасное соседство»*.

Он знает о таком соседстве. Всякий мечтатель (а Виктор Гюго любит называть себя Мечтателем) носит в себе воображаемый мир: у одних это грезы, у других – безумие. «Этот сомнамбулизм – свойствен человеку. Некоторое предрасположение ума к безумию, недолгое или частичное, совсем не редкое явление... Это вторжение в царство мрака не лишено опасности. У мечтательности есть жертвы – сумасшедшие. В глубинах души случаются катастрофы. Взрывы рудничного газа... Не забывайте правила: надо, чтобы Мечтатель был сильнее мечты. Иначе ему грозит опасность. Всякая мечта – это борьба. Возможное всегда подходит к реальному с каким-то таинственным гневом. Химера может подточить человеческий мозг...» В Викторе Гюго Мечтатель всегда был сильнее мечты. Его спасло то, что он сублимировал в стихах свою тоску и галлюцинации; он прочными корнями врос в реальность; но в Эжене он узнавал того, кем он и сам мог бы стать.

От мрачного огня, горевшего в его душе, ни одна вспышка не вырывается наружу. Все, кто знал Виктора Гюго в первые месяцы его брака, замечали его торжествующий вид, словно у «кавалерийского офицера, захватившего вражеский пост». Это объяснялось сознанием своей силы, порожденным его победами, упоительной радостью обладания своей избранницей, и вдобавок после сближения с отцом у него появилась гордость отцовскими военными подвигами, к которым он, как это ни странно, считал себя причастным. Почитателей, видевших его в первый раз, поражало серьезное выражение его лица и удивляло, с каким достоинством, несколько суровым, принимал их на своей «вышке» этот юноша, проникнутый наивным благородством и одетый в черное сукно.

«Очень любопытно смотреть на эту молодую чету, – говорит Сен-Вальри в письме к Ресегье. – Это любовь двух ангелов, и куда более поэтичная, чем в стихах Томаса Мура...» У молодой госпожи Гюго были темные блестящие волосы, очень красивые, «андалусские» глаза и вдобавок странное сочетание спокойствия и страсти в облике, некий «подавленный порыв чувства, готового вырваться». На первый взгляд в ней не было обаяния; надо было всмотреться в нее, и тогда выступала ее прелесть. Вскоре Адель забеременела, и Виктор Гюго был счастлив своим ранним отцовством. Такой молодой, он уже испытывал желание жить семейной жизнью, быть супругом и отцом. «Как-то сама собой вокруг него возникала патриархальная атмосфера, идиллическая и вместе с тем возвышенная». Теперь ему нужно было зарабатывать на троих: Леопольд Гюго II родился ровно через девять месяцев после свадьбы – 16 июля 1823 года.

Работа, работа, работа – в мансарде над кронами развесистых каштанов на улице Шерш-Миди. Создавались новые оды. Закончен был роман «Ган Исландец» и вручен Персану. Маркиз, ставший издателем, обязался в контракте, заключенном с Гюго, переиздать «Оды» и выпустить роман «Ган Исландец» в количестве тысячи экземпляров. Но из причитающегося ему гонорара Гюго получил только пятьсот франков, так как Персан обанкротился и, не имея возможности уплатить автору, оклеветал его – это дело обычное. Для Гюго началось время познания гнусных сторон литературных нравов. Пришлось еще раз прибегнуть к помощи отца. По счастью, министр внутренних дел назначил ему второе пособие – в две тысячи франков в год, а добряк Фуше пригласил на лето молодое семейство в Жантильи. Но на этот раз Виктора Гюго поместили уже не на готической голубятне, а в комнате Адели.

Роман «Ган Исландец» издан был в четырех выпусках, в серой обложке, на грубой бумаге и без фамилии автора. «Это своеобразное сочинение, – возвещал Персан, – говорят, является первым прозаическим произведением молодого писателя, уже известного по его блестящим успехам в поэзии». Эта книга, в которой Виктор Гюго вдохновлялся английским «черным романом» (Метьюрена, Льюиса, Анны Радклиф), когда-то начата была и для заработка, и для

того, чтобы воплотить в образах ее героев – Этели и Орденера – любовь Гюго к Адели Фуше. Не следует забывать, что в нагромождении убийств, чудовищ, виселиц, палачей и пыток Гюго допускал сознательную нарочитость и пародию. Это было виртуозное произведение в «неистовом жанре». Мистифицировал автор и своей мнимой эрудицией. Он прочел наугад малоизвестные книги, например «Путешествие в Норвегию» Фабрициуса, «Наследник датского престола» П.-Г. Малле, и внес в свой роман целую кучу неудобоваримых псевдонаучных сведений: «Настоящее имя Одина – Фригге, сын Фридульфа». Этот педантизм импонировал, но Гюго не произвел сколько-нибудь серьезных изысканий, чтобы изобразить тот мир, который он описывал. В своем предисловии он и признавался в этом с иронией. Автор «ограничится лишь замечанием, что живописная сторона его романа была предметом особых его забот; что в нем часто будут встречаться буквы К, У, Н и W – хотя обычно автор употребляет их чрезвычайно скупно... что читатель равным образом найдет здесь многочисленные дифтонги, которые варьируются с большим вкусом и изяществом; и что, наконец, всем главам предшествуют странные и таинственные эпиграфы, чрезвычайно усиливающие интерес к роману...»<sup>35</sup>. Читая этот роман, скажешь, что здесь Гюго ближе к Стерну или Свифту, чем к Вальтеру Скотту или к «Монаху» Льюиса.

Однако ему удалось вызвать и ужас и интерес. Ему помогал в этом странный характер его воображения. У его отца и братьев была так же, как у него самого, склонность к мрачной фантастике. Как Байрон, он щедро разбрасывал черепа, из которых его герои пили «морскую воду и человеческую кровь». Он заявлял, что в Жантильи он будто бы работал в своей башенке в обществе летучей мыши. Друзья Гюго не приняли эту книгу всерьез. Ламартин написал ему из Сен-Пуана 8 июня 1823 года: «Мы перечитываем ваши восхитительные стихи и вашего ужасного „Гана“. Скажу мимоходом, что, по-моему, он чересчур ужасен; смягчите свою палитру; изображение, как лира, должно ласкать слух, вы ударяете по струнам слишком сильно. Говорю эти слова, имея в виду ваше будущее, – ведь у вас оно есть, а у меня его уже нет...» Желчный и остроумный Анри де Латуш в статье «Отомщенные классики» высмеял нового романиста:

Беззвездная полночь, готический зал...  
Писатель-романтик собрату сказал:  
Прошу вас, ответьте, мсье, без стыда,  
По вкусу вам кровь и морская вода?

Вы вешали брата? Смеясь от души,  
Внимали, как жертва стонала в тиши?  
Скажите, у вас не дрожала рука,  
Когда вы веревку снимали с крюка?..

Действительно, «Ган Исландец» был «чересчур ужасен», как говорил Ламартин, и давал богатый материал для пародий. Но какая тут энергия, сколько фантазии! Шарль Нодье напечатал в газете «Котидьен» статью, в которой он выразил сожаление, что молодой автор романа заставил себя изыскивать всякие уродства в жизни, отвратительные аномалии, но вместе с тем признавал, что далеко не всякий писатель способен начать с подобных заблуждений. Нодье хвалил бойкий, живописный слог Гюго и тонкость в передаче некоторых чувств. Статья для молодого автора упоительная, когда она подписана таким именем.

Критик и романист Шарль Нодье был на двадцать два года старше Гюго, он прожил жизнь весьма странную. Отец его, бывший ораторианец, стал в Безансоне главой революционеров, однако воспитание своего сына этот санкюлот доверил некоему «бывшему» – Жиро де Шан-

<sup>35</sup> Виктор Гюго. Предисловие к «Гану Исландцу».

трану. Мальчик бесконечно много читал, увлекался Амио, Ронсаром, Монтенем. Читал Гомера в подлиннике. Учитель прямо с листа переводил ему Гёте и Шекспира. Нодье женился в городе Доль на женщине «без недостатков и без денег»; он стал библиотекарем в Безансоне, затем секретарем совершенно сумасшедшего англичанина сэра Герберта Крофта и, наконец, библиотекарем в городе Лейбахе, в Иллирии, стране, откуда он привез множество сюжетов для своих произведений – «Жан Сбогар», «Смарра», «Трильби, или Аргайльский лесной дух».

Нодье был по натуре своей человек благожелательный и смелый. Он чем-то напоминал Гофмана, был он и ботаником, и энтомологом, художником, путешественником и археологом, без ума влюбленным в готику. Он знал все. Поступив в «Деба», а затем в «Котидьен», он поддерживал молодых литераторов как товарищ, затем как старший брат; постепенно он приобрел большой вес. Гюго побежал на улицу Прованс поблагодарить его за статью о «Гане Исландце» и не застал дома. На следующий день Нодье («Лицо угловатое, глаза живые и усталые, облик фантастический и задумчивый») пришел к супругам Гюго, которые пригласили его с женой и дочерью Мари (двенадцатилетней девочкой, отличавшейся, однако, чуткостью взрослой женщины). Это было началом искренней дружбы.

Альфред де Виньи расхвалил «Гана Исландца»: «Друг мой, говорю вам – и вы уже сотый человек, которому я это говорю, хоть и живу в Орлеане: вы создали прекрасное и долговечное произведение... Вы стали во Франции основоположником романа в духе Вальтера Скотта... Сделайте еще один шаг: натурализуйте гениальный вымысел, для которого вы избрали Норвегию, измените имена и декорации, и мы возгордимся еще больше, чем шотландцы... Все в романе полно неослабного, животрепещущего интереса; я перевел дух, только когда прочел последнее слово. Благодарю вас от имени Франции...» В этом же письме Виньи говорил о своих «сердечных горестях» и доверил их Гюго: оказывается, он влюбился в Дельфину Гэ. Любовь была взаимной. Дельфина не осталась равнодушна к «самому обаятельному из всех», как говорила ее мать, Софи Гэ. Но графиня де Виньи полагала, что сын ее должен жениться на богатой, чтобы восстановить положение разорившейся семьи, и она наложила свое вето. Виньи с грустью подчинился, смирилась с этим и Дельфина.

Отношения с генералом Гюго становились все более родственными. Отец с сыном переписывались по поводу Эжена, затем по поводу выраженного Леопольдом Гюго желания, чтобы его вновь зачислили в армию и повысили в чине. Виктор занялся этим делом и говорил даже, что надеется выхлопотать у Шатобриана посольский пост для генерала. Он оказал также покровительство отцу в отношении его «Мемуаров» и добился, что книгоиздатель Лавока напечатал их. Материальные интересы оказались полезны для усиления добрых чувств. У генерала Гюго было две цели: найти опору в сыне, пользовавшемся высокими милостями, а кроме того, заставить детей признать новую госпожу Гюго, которая, как он говорил, была «второй матерью для всех вас». Действительно, когда Адель в тяжелых родах произвела на свет первого сына и «бедный ангелочек», казалось, вот-вот зачохнет, генерал Гюго и его супруга взяли ребенка вместе с кормилицей в Блуа и поместили в просторном белом доме, который они там купили. «Девуцу Тома» теперь уже называли не иначе как «бабушкой Леопольда». Адель вышла чепец для своей свекрови. А ведь едва прошло два года с тех пор, как похоронили первую госпожу Гюго.

Девятого октября маленький Леопольд умер. Виньи, служивший в полку, который стоял гарнизоном в По, написал Виктору Гюго: «Ваша отцовская скорбь пришла так скоро после скорби о матери и о больном брате; вы удручены семейными горестями, хотя семья – естественное содружество наших близких и нам хочется видеть в ней единственный источник всех благ... Боже мой! Как печальна жизнь, друг мой...» По поводу болезни Эжена Альфред де Виньи очень образно сказал «о той страшной казни, которой подвергает нас наша физическая природа, когда она вдруг распадается задолго до смерти и когда души уже нет в теле, а оно стоит и улыбается, как эти ужасные фигуры в Геркулануме...». Но Гюго, несмотря на пережи-

тые несчастья (мать, брат, сын), не считал жизнь печальной; он был полон жажды жить, работать, любить. Адель снова зачала ребенка. «Виктор, – говорил Эмиль Дешан, – без усталости творит оды и детей».

## II

### «Французская муза»

*Замечательные времена Реставрации, когда у людей была романтическая душа и классическая выучка.*

**Морис Баррес**

«За время с 1819 по 1824 год под двойным влиянием – Андре Шенье и „Поэтических дум“ Ламартина, при отзвуках шедевров Байрона и Вальтера Скотта и громких стенаний Греции, в самый разгар религиозных и монархических иллюзий Реставрации, возник своего рода альбом прелюдий, в которых преобладала туманная меланхолия, жажда идеального, рыцарский тон и зачастую утонченное изящество отделки...» – писал Сент-Бёв. Лауреаты Тулузских поэтических состязаний – нежный Суме, рыжеволосый темпераментный Гиро с его гасконской речью – первые задавали тон; Эмиль Дешан предложил создать кружок и основать журнал. Так возникла «Французская Муза», объединявшая изысканных, чересчур изысканных молодых людей, любивших поэзию роялистов по традиции, «христиан из приличия и по смутному чувству».

Программа была составлена так: в религии – христианские чудеса в духе Шатобриана вместо языческих непристойностей времен Империи; в политике – монархия в духе Хартии; в любви – рыцарский платонизм. Это было «нечто нежное, благоуханное, ласкающее душу и пленительное; посвящение производили похвалами; поэта узнавали и приветствовали по какому-то таинственному признаку... Позолоченное рыцарство, разукрашенное Средневековье, прекрасные дамы, обитавшие в замках, пажи и их покровительницы, христианские молитвы в уединенных часовнях и отшельники, бедные сироты, маленькие нищие – все это имело бешеный успех и составляло основной запас сюжетов, не считая бесчисленных личных горестей...». Члены содружества называли друг друга просто по имени: *Альфред*, *Эмиль*, *Гаспар* или *Виктор*. В это сентиментальное франкмасонство входили и женщины. Красавицу Дельфину Гэ все называли *Дельфина*. Но когда Жюль де Рессегье, первейший трубадур из этих трубадуров, грассируя, попросил у Виктора Гюго разрешения называть его жену запросто – *Адель*, «молодой и строгий поэт отказал ему в таком разрешении». Он не любил фамильярности.

Эмиль Дешан предложил, чтобы каждый член кружка внес по тысяче франков в фонд издания «Музы». Для четы Гюго это было слишком много. Ламартин, который уже предпочитал восседать на вершине славы, живя помещиком на лоне природы, вдали от шумного литературного мира, отказался войти в кружок, но предложил Гюго заплатить за него денежный взнос: «Вступайте в число основателей журнала, а я, поскольку для меня невозможно дать для него ни свое имя, ни свои мысли, охотно внесу за вас положенную тысячу франков. Это останется между нами...» Гюго, оскорбленный такой уверткой, отказался принять деньги, но тем не менее играл в журнале главную роль благодаря своим стихам и своей природной властности.

Однако ж очень скоро настоящим центром объединения стал добряк Нодье, а местом встреч – его квартира, сначала на улице Прованс, а затем, с 1 января 1824 года, при библиотеке Арсенала, хранителем которой он стал, так как благоволивший к нему министр, при поддержке графа Артуа, дал ему в качестве новогоднего подарка этот завидный пост. Иногда беспечность – высшая ловкость, и никто не получает столько милостей, как эти немного ребячливые, легкомысленные люди. Великие мира сего любят покровительствовать рассеянными чудаками, так как всегда кажется, что те нуждаются в покровительстве. Нодье вдруг получил квартиру во дворце, в центре прославленного квартала. Из своих окон он видел, как солнце заходит за собор Парижской Богоматери. Хранитель библиотеки – это своего рода каноник-мирянин. Нодье,

добродушный домосед и рутинер, наслаждался поздно пришедшим к нему комфортом. Его жена, тоже простая и милая женщина, тотчас внесла буржуазный уют в павильон «королевского дворца», ее живое и веселое, «цветущее, как букет», лицо скрашивало суровую декорацию. Их дочь Мари росла красавицей, и все поэты были ее друзьями.

По воскресеньям салон Арсенала блистал парадным освещением. Двери для всех были открыты: приходи кто хочешь. Там бывал Северен Тейлор, уроженец Брюсселя, англичанин по происхождению, французский офицер, товарищ Альфреда де Виньи и любимец правительства, Софи Гэ и лучезарная, как вешний день, Дельфина Гэ, прозванная «французской музой»; бывал там Суме, с триумфальным успехом поставивший две свои пьесы, «две лучшие трагедии нашей эпохи», как говорил Гюго, – словом, более чем когда-либо «наш великий Александр»; Гиро, прославившийся своим «Маленьким Савояром»; Альфред де Виньи и Гаспар де Понс в голубом мундире; разумеется, здесь бывали братья Дешан и огромный де Сен-Вальри, совладелец «Французской Музы».

С восьми до десяти часов вечера шла беседа. Нодье, стоя у камина, принимался что-нибудь рассказывать – воспоминания юности или фантастические происшествия. Куда девались тогда его равнодушие и вялость? Он становился удивительно красноречивым. Затем начинались литературные споры. «Андре Шенье зашел слишком далеко, – говорил Виктор Гюго, – в его стихах столько цезур и переносов фразы из одной строки в другую, что они лишаются музыкальности, а ведь в поэзии прежде всего нужна напевность». Нодье возражал: «Шенье романтик на свой лад – и это хорошо... В искусстве нет раз и навсегда установленных правил». Эмиль Дешан, сверкнув в улыбке превосходными зубами, говорил, кривя тонкие губы: «Вы еще откажетесь от своего мнения, дорогой Виктор...» В десять часов Мари Нодье садилась за пианино, и разговоры прекращались. Стулья отодвигали к стенам, и начинались танцы. Нодье, заядлый картежник, садился играть в экарте; Виньи, бледный, стройный, вальсировал с Дельфиной Гэ. Люди серьезные, в том числе и молодой Гюго, продолжали вполголоса беседовать в уголке. Госпожа Гюго, с загоревшимся взглядом своих «андалусских» глаз, танцевала, и муж время от времени тревожно посматривал на нее.

Все эти люди, хоть и собратья-литераторы, были добрыми друзьями. На смену царства острословия, говорил Эмиль Дешан, пришло царство добросердечия. Участники кружка великодушно хвалили друг друга. «Нашему великому Александру» воздавали самые высокие похвалы:

Мы ждем твоих стихов, их слава велика,  
Их Франция возьмет в грядущие века...

Впрочем, хвалили всех по очереди, и Рессегье курил фимиам Виктору Гюго:

Воспели вы Маренго и Бувин  
И одой обессмертили их славу.  
Малерб, Гюго и Жан-Батист – по праву  
Вы встали в ряд один.

Это общество взаимного поклонения раздражало язвительного Анри де Латуша, и в газете «Меркюр» он напал на эти крайности: «По-видимому, господа Александр С\*\*\*, Александр Г\*\*\*, Гаспар де П\*\*\*, Сен-В\*\*\*, Альфред де В\*\*\*, Эмиль Д\*\*\*, Виктор Г\*\*\* и некоторые другие условились, что они будут прославлять друг друга. Да и почему бы этим мелким князькам поэзии не заключить подобный союз?» «Мелкие князьки» энергично ответили пером Виктора Гюго: «Энтузиастов оскорбляют за то, что песнь одного поэта вдохновляет другого поэта, и желают, чтобы о людях, обладающих талантом, выносили суждение только те, кто

таланта не имеет... Можно подумать, что для нас привычна лишь взаимная зависть литераторов; наш завистливый век насмехается над поэтическим братством, таким радостным и таким благородным, когда оно возникает между соперниками».

Большинство сотрудников «Французской Музы» стремились к обновлению поэзии, но отнюдь не хотели вмешиваться в ссору между романтизмом и классицизмом. Жюль де Рессегье выразил в весьма плоских стихах этот осторожный эклектизм:

У двух прекрасных школ, как у сестер, —  
Одна повадка, разная одежда.  
Которая милей? Напрасный спор:  
Величие — в одной, в другой — надежда...

В чем же было тут дело? Какую действительность прикрывали слова *романтизм* и *классицизм*? Госпожа де Сталь делала тут два резких разграничения: «Литература, подражающая древним классикам, и та литература, которая своим рождением обязана духу Средневековья; первая — по самым своим истокам окрашена язычеством, а во второй — движущая сила и развитие исходят из глубоко духовной религии...» Если судить по этим определениям, то поэты «Французской Музы» близки были к романтизму. Они были христиане и трубадуры; предоставляли северным духам и вампирам место, которое некогда занимали нимфы и эвмениды; они читали Шиллера и в некоторой мере знали его (немного, так как мало кто из них владел немецким языком). Другие новаторы считали эту форму романтизма варварской и ретроградной. Ламартин говорил о «Музе»: «Это бред, а не гениальность». Стендаль около 1823 года писал, что он боится той «немецкой галиматьи, которую многие называют романтической». Он писал — «*романтицизм*» (на итальянский лад) и хотел, чтобы возник свободолобивый романтизм, романтизм писателей-прозаиков, влюбленных в правду. Он высмеивал «молодых людей, которые избрали себе жанр мечтательный, тайны души; хорошо упитанные, с хорошими доходами, они непрестанно воспевают страдания человеческие и радость смерти». Он называл их «мрачными дураками».

К спорам примешался шовинизм. «„Вертер“ — роман какого-то немецкого поэта», — писал в 1805 году в газете «Деба» критик Жофруа. Позднее Ф.-Б. Гофман издевался над «поклонниками германской Мельпомены». Противники «Французской Музы» из числа либералов упрекали ее в том, что она больше немецкая и английская, чем французская; что она предлагает мистицизм народу, который всегда видел в мистицизме лишь предмет для шуток; что она преподносит туманные оды нашей нации, которая по своему характеру склонна ко всему позитивному; что «Муза» всерьез толкует с читателем-философом о всяческих суевериях. Словом, дух XVIII века восстал против духа XIX века. Во Французской Академии, которая по самому уж возрасту своих членов зачастую идет против новшеств и которая в те времена защищала классицизм и философию, господин Оже, постоянный секретарь Академии, в своей речи, произнесенной на публичном ее заседании, метал громы и молнии против содружества Арсенала, называл его еретической сектой в литературе: «Эта секта создавалась недавно и насчитывает еще мало открытых adeptов; но они молоды и горячи; преданность и энергия заменяют им силу и численность...» Он призывал к порядку госпожу де Сталь за ее разграничение классицизма от романтизма, «которое, неведомо для всех литератур, раскалывает их; проделывается такое разделение и в нашей литературе, которая о нем никогда и не подозревала...». Он упрекал романтиков в желании разрушить правила, на которых основаны французские поэзия и театр, и в том, что романтики ненавидят веселость и находят поэзию только в страданиях. Впрочем, их печаль чисто литературная, говорил Оже, не причиняющая никакого вреда их прекрасному здоровью. Короче говоря, романтизм не связан с реальной жизнью, это призрак, исчезающий, стоит только прикоснуться к нему.

Странно, что этот хулиатель романтизма вскоре покончил с собой, как романтический Вертер, но ведь никто не мог предвидеть его самоубийства, и служителей «Французской Музы» смущали нападки Оже. «Наш великий Александр» лелеял честолюбивую мечту попасть в Академию, да и другой Александр – Гиро – тоже подумывал о доме на набережной Конти. Впрочем, они не считали себя романтиками и все меньше понимали, что означает это слово. «Столько раз давали определение романтизма, – говорил Эмиль Дешан, – что вопрос совсем запутался, и я уж не стану усиливать эту путаницу новыми разъяснениями...» Общим для всех этих молодых людей была защита таинственности, которую отвергали и даже презирали философы XVIII века, бунт против холодной поэзии времен Империи, стремление посвятить свое перо трону и алтарю. Было ли это романтизмом? Право же, заявлял Поль Валери, «невозможно задумываться серьезно над такими словами, как *классицизм* и *романтизм*: ведь нельзя ни напиться пьяным, ни утолить жажду этикетками бутылок...».

Если Академия хочет во что бы то ни стало разбить литературу на два лагеря, писал тогда в «Музе» Эмиль Дешан, «мы, со своей стороны, укажем среди писателей всех наций, которых за последние двадцать лет именовали *романтиками*, следующих лиц: Шатобриана, лорда Байрона, госпожу де Сталь, Шиллера, Монти, де Местра, Гёте, Томаса Мура, Вальтера Скотта, аббата де Ламенне и т. д. и т. д.; после этих великих имен нам не подобает приводить имена более молодых писателей. В другом лагере (выбирая литературные имена в той же эпохе) мы увидим господ\*\*\* – оставляю пробел и предлагаю классицистам заполнить его; яснее сказать не могу. А затем пусть решит Европа или какой-нибудь ребенок».

Гюго, со своей стороны, ответил статьей «О лорде Байроне в связи с его смертью»:

Нельзя после гильотин Робеспьера писать мадригалы в духе Дорá, и не в век Бонапарта можно продолжать Вольтера. Настоящая литература нашего времени, та литература, деятели которой подвергаются остракизму, подобно Аристиду... и в бурной атмосфере которой, несмотря на широкие и рассчитанные гонения против нас, расцветают все таланты, как иные цветы произрастают лишь в местах, овеваемых ветрами... эта литература не отличается мягкими и бесстыдными повадками музыки, которая воспевала кардинала Дюбуа, лестила фаворитке Помпадур и оскорбляла память Жанны д'Арк... Она не порождала дикой оргии песен во славу кровавой резни... Ее воображение окрыляет вера. Она идет в ногу со своим временем, идет шагом твердым и размеренным. Она полна серьезности, ее голос мелодичен и звучен. Словом, она такова, какими должны быть чувства, общие для всей нации после великих бедствий, – чувства печали, гордости и веры в Бога.

В статье есть фраза: «Мы не можем сделать так, чтобы прошлое стало настоящим». Сказано прекрасно, однако «наш великий Александр» не сводил глаз с дворца Мазарини и боялся постоянного секретаря. «Мы едва осмеливаемся дышать при этом режиме литературного террора», – вздыхал Молодой Моралист (Эмиль Дешан). Гиро и Рессегье готовы были из солидарности с Тулузской академией прикрывать отступление Суме. Выход этой группы из кружка не убил бы «Французской Музы», если бы среди остальных членов содружества царило полное согласие. Но его не было. Статья о «Новых поэтических думках» Ламартина, не то чтобы враждебная, но сдержанная, имела целью наказать старшего собрата за его отказ сотрудничать в «Музе». Он ответил весьма язвительным письмом к Гюго: «Каждый делает на сем свете свое дело, как умеет. Птицы поют, змеи шипят; не надо за это сердиться на них...» Неприятное назидание. Альфред де Виньи, страстный поклонник Ламартина, написал Гюго: «Какая гнусная вещь – литература! Возьмем хотя бы отзывы о поэзии Ламартина, которые я слышу вокруг. О нем всегда неправильно судили – то ставили его слишком высоко, то слишком низко. Гово-

рят, вы отлучили его от церкви. Не могу этому поверить...» Суме писал Александру Гиро: «Ламартин – гигант, а вы – шалуны в литературе, и вы еще смеете его критиковать».

Второй повод к расколу. А, кроме того, Шатобриан, который, будучи министром иностранных дел, поддерживал «Музу», где поэты воспевали его войну в Испании, вдруг провалился с треском – был смещен со своего поста 6 июня 1824 года. 15 июня «Французская Муза» затопила свое судно. «По мотивам высокого порядка, – писала Мари Нодье, – корабль вернули в гавань после блистательного залпа в честь великого писателя при его выходе из министерства...» В последнем номере журнала Гюго на прощанье дал залп в честь Шатобриана:

Твои несчастья – славы пьедестал.  
Когда судьба смеялась над тобой,  
Ты возвышался над судьбой  
И, падая с вершин, в лазурь взлетал<sup>36</sup>.

Двадцатого июля Александр Суме был избран во Французскую академию. Итак, под ее купол вступил романтизм? Нет, скорее уж Суме отступил от романтизма.

Кто же Гюго? Классицист? Романтик? Публикуя в феврале 1824 года у книгоиздателя Лавока «Новые оды и баллады», Виктор Гюго в предисловии к сборнику еще отказывается принять решение:

Теперь в литературе, как и в государстве, существуют две партии, и война в поэзии, по-видимому, должна быть не менее ожесточенной, чем яростная социальная война. Два лагеря, кажется, больше жаждут сразиться, чем повести переговоры. Они упорно не желают найти общий язык: внутри своего стана они говорят приказами, а вне его издают клич войны. Но ведь так противникам столкнуться невозможно. Меж двух боевых фронтов выступили благоразумные посредники, призывающие к примирению. Быть может, они окажутся первыми жертвами, но пусть будет так. Автор этой книги хочет занять место именно в их рядах. И прежде всего, желая придать некоторое достоинство беспристрастному обсуждению, которым ему хочется внести ясность в данный вопрос (больше для себя самого, чем для других), он решил отказаться от всяких условных терминов, которыми противники перебрасываются, как пустыми воздушными шарами, от знаков, не имеющих значения, от выражений, ничего не выражающих, от туманных слов, которые каждый понимает по-своему, сообразно своей ненависти или своим предрассудкам, и которые служат доказательствами только для тех, кто доказательств не имеет. Сам автор ведать не ведает, что такое *классический жанр* и *жанр романтический*... В литературе, как и во всем остальном, есть только хорошее и плохое, прекрасное и безобразное, истинное и ложное... Однако прекрасное у Шекспира столь же классично (если слово *классично* означает *достойное изучения*), как и прекрасное у Расина...<sup>37</sup>

Гюго восставал против той мысли, что революция в литературе является выражением политической революции 1789 года. Она была, утверждает молодой Гюго, ее результатом, а это большая разница. Мрачный и грозный ход событий, конечно, пробудил все, что было бессмертного и высокого в творчестве гениев. Но современная литература, произведения, создан-

---

<sup>36</sup> Виктор Гюго. Шатобриану («Оды и баллады»).

<sup>37</sup> Виктор Гюго. Предисловие к «Одам и балладам» издания 1824 г.

ные такими писателями, как госпожа де Сталь, Шатобриан, Ламенне, несколько не принадлежат Революции, – «они предвосхищают монархический и религиозный дух того общества, которое, несомненно, возникнет среди множества обломков прошлого». Форма «Новых од и баллад» не более революционна (утверждал автор), чем его политические взгляды. «Всякое новшество, противоречащее природе нашей просодии и духу нашего языка, должно быть признано посягательством на самые основы хорошего вкуса...»

Сильный темперамент художников, неведомый для них самих, влияет на форму их произведений. Гюго как поэт уже освобождался от пут больше, чем он знал об этом как автор предисловия. В некоторых стихотворениях он дерзнул отказаться от перифраз, сорвал с дрессированной собаки ошейник эпитетов и назвал вещи своими именами. Еще слишком много у него *муз* и *ангелов*, слишком много возгласов: «*Праведное небо! Что вижу... О небеса! Куда те воины идут!*» И все же в стихах, как будто против его воли, проскальзывают воспоминания детства, правдивые пейзажи, прекрасные строки:

Я король-изгнанник, гордый, одинокий...

Разве здесь уже не слышится Бодлер?

Вот уж ты явился взгляду,  
Сыплешь блесток мириады,  
И небесною оградой  
Песня крыл твоих звенит<sup>38</sup>.

А здесь разве вы не слышите Валери? Гюго предчувствует также ту роль, которую иным людям предназначено играть в мире:

Поэту чужд покой —  
Он утешает род людской,  
Рабов, снедаемых тоской...<sup>39</sup>

Нет ничего труднее, как написать без лишних или неточных слов короткое стихотворение, в котором смысл должен быть тесно связан с ритмом. В двадцать два года Гюго делал это с царственной легкостью. Но он был неведомо для себя романтиком, и присяжный критик «Журналь де Деба», «старая лисица Гофман», грубый и ворчливый сын Лотарингии, писавший в молодости вольные стишки в подражание классикам, разоблачил его. Он упрекнул поэта за то, что у него отвлеченные идеи сочетаются с реальными образами. «Писатели Античности, – неосторожно заявил он, – не давали бы какому-нибудь божееству в качестве облачения тайну». Однако он имел дело с человеком, который лучше его знал античную и классическую литературу, Гюго задал ему хорошую взбучку.

### ***Письмо Гюго к Гофману, опубликованное (в силу права на ответ) в газете «Журналь де Деба»***

Я не стану утверждать, что это выражение буквально взято из Библии. Библия несколько романтична, не правда ли? Но я спрошу вас, чем это

---

<sup>38</sup> Виктор Гюго. К Трильби («Оды и баллады»). Перевод В. Давиденковой.

<sup>39</sup> Виктор Гюго. Поэт в Революции («Оды и баллады»).

выражение кажется вам порочным? Дело в том, скажете вы, что у меня отвлеченное понятие, тайна, непосредственно сочетается с реальным образом – *облачением*. Ну что ж, сударь, такого рода сочетание слов, которое кажется вам *романтическим*, встречается на каждом шагу и у «писателей Античного мира», и у «великих современных писателей».

...За отсутствием места, я хочу привести только самые убедительные примеры. Вы утверждаете, что классики, стремившиеся никогда не соединять отвлеченные понятия с реальностями, не дали бы какому-нибудь божееству *тайну* в качестве *облачения*; но, сударь, они дали в качестве *основы престола Божия* – СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ИСТИНУ (Ж.-Б. Руссо, ода XI, кн. I), следовательно, вещественному образу – *престол* дали опору из двух отвлеченных понятий – *справедливость* и *истина*. Вот еще примеры: Гораций сказал в оде XXIX, кн. III: «VIRTUTE me involvo mea (я *облекаюсь* в свою ДОБЛЕСТЬ)». Жан-Батист Руссо сказал (кн. IV, ода X): «Так в высшую заслугу людям ставят порок ИЗЯЩНЫМ *облачением* смягченный...» Ну и вот, сударь, – раз Гораций делает из ДОБЛЕСТИ *облачение*, а Руссо то же делает с ИЗЯЩЕСТВОМ, разве не употребляем мы ту же самую фигуру, применяя ее к слову ТАЙНА, столь же отвлеченному, как *изящество* и *доблесть*?..

Итак, я имел честь доказать вам, что выражения, в которых вы усматриваете *всю суть романтизма*, по меньшей мере, столь же часто употреблялись классиками античной и современной литературы, как и писателями наших дней, а поскольку в этих выражениях вы усматривали различие между двумя литературными жанрами, то оно рушится само собой; из этого следует, сообразно вашей системе, что нет никакой реальной разницы между этими жанрами, раз единственная, признаваемая вами разница – разница в стиле, совсем исчезла. Позвольте поблагодарить вас за такой результат...

Нельзя не восхититься твердостью тона в этом письме, эрудицией и решительностью автора. Мастерство не декретируется, оно властно заявляет о себе.

### III

## Блуа, Реймс, Шамоникс

*Прекрасные творения – суть дщери своей формы, рождающейся  
прежде, чем они.*

*Поль Валери*

Финансовые дела семейства Гюго улучшились. За право выпускать в течение двух лет «Новые оды» книгоиздатель Лавока платил автору две тысячи франков. Генерал ежемесячно посылал сыну небольшую сумму, и Виктор, получавший теперь два королевских пособия, просил отца, чтобы тот, помогая ему, «прежде всего думал о собственном своем благополучии». Молодые супруги смогли в 1824 году снять небольшую квартирку в доме № 90 по улице Вожирар, над мастерской столяра, и платить за нее шестьсот двадцать пять франков в год. Там у них и родилась 28 августа дочь Леопольдина. «Наша Дидина просто прелесть. Походит она на мать, походит и на дедушку...» Крестной матерью записали генеральшу графиню Гюго. Конечно, это был дипломатический ход.

Улица Вожирар стала местом сбора многих молодых писателей. Семейство Гюго они считали образцовым. В их спокойном жилище, всецело посвященном труду, госпожа Гюго разливала сияние своей красоты. «Оды» казались «Сенаклю» – так именовалось это содружество – сладостными и торжественными отзвуками этой «чистой и уединенной жизни».

*Гюго – Альфреду де Виньи:* «Сию дома, где мне так хорошо, где я баюкаю свою дочку, где всегда со мною моя жена – мой ангел...» Он хотел быть «первым в супружестве», в отцовских радостях и в поэзии. Друзья остались ему верны. Альфред де Виньи, служивший в Олоронском гарнизоне, сперва возмущался закрытием «Французской Музы»: «Ничего не понимаю в том, что мне пишут, дорогой друг, но из моей горной глуши мне кажется, что мы делаем глупость. Как! „Муза“ прекратит существование, когда она стала силой?.. Спасите ее любой ценой... Отступить от нее было бы просто подло...» Он возмущался, что Александра Суме прельщает «ветхое кресло» академика. Но Олорон далеко от Парижа, и, когда поэт-офицер писал это письмо, «Французская Муза» уже умерла, а Суме стал «бессмертным». Это не затронуло дружбы, соединявшей Гюго и де Виньи: «Оставим другим эти мелкие слабости и ребяческие страхи. Любите меня и пишите мне, вот и будет хорошо. *Альфред...*»

Иногда на улицу Вожирар приходил к обеду Ламартин, он был тут старше всех, облик имел гордый, благородный и надменный. Он выставил свою кандидатуру во Французскую Академию и страдал из-за этого.

*Ламартин – Гюго, 6 ноября 1824 года:* «В среду приду к вам обедать, дорогой Гюго. Но, пожалуйста, не приглашайте Суме. Вы и представить себе не можете, до чего гнусно третируют нас, кандидатов, господ, получившие право избирать; я негоую, я возмущен. Хорошо знаю, что господин Суме им не сообщник, но и он и другие становятся их орудием. Будем жить вдали от них, и если вы, после того как эта история кончится, когда-нибудь снова увидите мое имя среди кандидатов в Академию, можете сказать, что я потерял и голову и сердце...» Ламартин обожал молодое семейство Гюго. В письме от 23 декабря 1824 года он говорит: «Вы не делали глупостей в своей жизни, а моя жизнь до двадцати семи лет была соткана из ошибок и распушенности... У вас сердце, достойное золотого века, а жена ваша – женщина из рая земного. При таких обстоятельствах еще можно жить в наш железный век...» Летом, когда Ламартин жил в Сен-Пуане, поэты переписывались. Виктору Гюго, защищавшему грамматику, Ламартин отвечал: «Грамматика подавляет поэзию. Грамматика не для нас писана...» Разница была в том, что Гюго прекрасно знал грамматику. Это дружбе не мешало, и Ламартин прислал Гюго стихотворное приглашение в Сен-Пуан:

Не грустно ли певцу томиться  
В людской толпе? К нам поспеши —  
Ведь место вольной певчей птице  
Среди полей, в лесной глуши!<sup>40</sup>

Из-за болезни Эжена генерал Гюго задержался в Париже, и это привело не только к родственному, но и к духовному сближению Виктора Гюго с отцом. Когда-то торжествующий и суровый отец вызывал у его детей враждебные чувства, но отец, уволенный в отставку, искавший опоры у сына, уже ставшего знаменитым поэтом, внушал им снисходительное к себе отношение, жалость, а также и гордость его былыми воинскими подвигами – Адель и Виктор любили слушать рассказы о них.

Оставь, о мой отец, твой страннический посох!  
О бурях боевых, о гибельных утесах,  
Встречавших твой корабль, поведай в тихий час  
В кругу семьи своей. Ты кончил труд походный,  
Ты завещал сынам свой подвиг благородный,  
И нет наследия прекраснее для нас!<sup>41</sup>

А через своего отца, которого сын теперь лучше знал и больше любил, он чувствовал себя ближе к Наполеону. При жизни Наполеон был «тираном», ненавистным для матери Виктора Гюго. После трагедии на острове Святой Елены он стал преследуемым героем, и в глубине души Гюго чувствовал, что французскому поэту приличнее воспевать тех, кто «сражался под Фридляндом и пал у Риволи», чем осыпать цветами заказных од мелькающие фигуры королевской семьи.

Французы! Отберем похищенную славу!  
Вам подвиги его принадлежат по праву,  
Довольно хор похвал о нем одним гремел!  
Он вами вознесен, но ваших молний сила  
Какому бы орлу весь мир не покорила  
И кто б не стал велик с вершины ваших дел!<sup>42</sup>

Когда Шатобриан был министром, Виктор Гюго надеялся возвести отца «на вершину воинских почестей», но в пору своего могущества Шатобриан стал недоступным сановником. *Виктор Гюго – генералу Гюго, 27 июля 1824 года:* «Если мой знаменитый друг вернется на свой пост, наши шансы утратятся. Мои отношения с ним стали гораздо ближе со времени его опалы; а когда он был в милости, дружба наша очень остыла...» И *29 июля 1824 года:* «Дорогой наш Эжен все в том же положении, бедняжка. Никакого сдвига! Полная безнадежность...» Отношения с бывшей графиней де Салькано улучшились: «Поблагодари, пожалуйста, свою жену за ее деликатное внимание ко мне – она сердечно поздравила меня с днем рождения. Не могу и передать, как я и моя Адель были тронуты. Поблагодари ее еще за обещанную присылку масла, оно будет нам очень полезно нынешней зимой...»

---

<sup>40</sup> Перевод М. Донского.

<sup>41</sup> *Виктор Гюго. Моему отцу («Оды и баллады»).* Перевод В. Левика.

<sup>42</sup> Там же.

Генерал Гюго, радуясь необонапартизму своего сына, настаивал, чтобы тот приехал со всем семейством погостить в Блуа. Прежде это было невозможно из-за двух тяжелых беременностей Адели. Наконец в апреле 1825 года они предприняли это путешествие. Виктор Гюго, который, несмотря на смерть Людовика XVIII, по-прежнему был в милости двора, получил от директора почтового ведомства карету и поехал в ней с женой и маленькой дочкой. В Блуа на почтовой станции их встретил генерал Гюго с широкой улыбкой на багровом лице, чрезвычайно довольный, что может показать сыну и снохе свой красивый, прочный и просторный «белокаменный дом... с шиферной крышей»; еще больше он был счастлив, когда, вскоре после приезда, сын получил письмо от виконта де Ларошфуко, «уполномоченного ведать изящными искусствами, их сношениями с королевским домом». В этом письме сообщалось, что Карл X «милостиво соизволил» произвести в кавалеры ордена Почетного легиона господ Гюго и Ламартина. На самом-то деле оба они ходатайствовали об этом ордене. Его величество весьма любезно выразил свое огорчение по поводу забвения, в коем пребывают деятели литературы, чем они по праву должны быть удивлены. Король пригласил молодого поэта на свою коронацию. Легко себе представить, как счастлив был отец, увидев дорогой ему орден Почетного легиона на груди своего двадцатитрехлетнего сына.

Для Виктора Гюго, умевшего наслаждаться возвышенными чувствами и долго считавшего себя сиротой, было радостно жить под отцовским кровом. Когда-то он восставал против отца, а теперь испытывал чудесное душевное спокойствие, чувствуя себя перед ним ребенком, но ребенком, которого отец уважает, и ему нравилось бродить с отцом по живописным окрестностям Блуа. О самом Блуа он говорил, что «это прелестнейший город... Он раскинулся на обоих берегах красавицы Луары, и все тут тешит взгляд: с нагорной стороны амфитеатром поднимаются по склонам сады и руины; с другой – простирается равнина, утопающая в зелени. На каждом шагу – воспоминание...». Он любил старинные замки, связанные с историей и с легендами.

### ***Виктор Гюго – Адольфу де Сен-Вальри, 7 мая 1825 года***

Я побывал в Шамборе. Вы и представить себе не можете, какая там своеобразная красота!.. Всяческое волшебство, всяческая поэзия, всяческие безумства проглядывают в этом восхитительном и странном дворце, где обитали феи и рыцари. Я вырезал свое имя на верхушке самой высокой башенки; прихватил с собою немножко камешков и мха с вершины холма и кусочек оконного переплета от того самого окна, на котором Франциск I написал две стихотворные строчки:

Женщины, женщины,  
Как вы изменчивы!

Обе эти реликвии для меня драгоценны...

Очень понравилась ему и усадьба Мильтьера, которую генерал Гюго купил в Солони, в нескольких километрах от Блуа.

### ***Виктор Гюго – Полю Фуше, 10 мая 1825 года***

Нахожусь сейчас в Мильтьере, в зеленой беседке около дома; плющ, обвивающий ее, бросает на бумагу зубчатые, вырезные тени; посылаю тебе их рисунок, раз ты хочешь, чтобы в моем письме было что-нибудь поэтическое.

Не смейся над странными линиями, брошенными как будто случайно на оборотной стороне листка. Призови на помощь воображение. Представь себе весь этот рисунок, начертанный солнечным светом и тенью, и ты увидишь нечто очаровательное. Вот так и поступают безумцы, которых именуют поэтами...

Слова важные, так как они показывают счастливую непринужденность, с которой Гюго начал теперь рисовать, а зачастую и писать. Светлые пруды, старинный дом, дуплистые ивы, под которыми зажигались во тьме блуждающие огоньки, обратили для него Мильтьеру «в чудесный, таинственный приют».

Дни, проведенные в гостях у отца, пролетели, как показалось Гюго, чересчур быстро. Каждый жаждет тех почестей, в которых ему отказывают, и проклинает те, что сами плывут ему в руки. Когда пришло время ехать в Реймс на коронацию Карла X, молодой и уже прославленный поэт огорчился, что надо расстаться с Блуа, с отцом, а главное, с Аделью – впервые со дня свадьбы. Но так уж было решено. Виктор Гюго обещал, что путешествие из Парижа в Реймс он совершит вместе с Нодье, и попросил родителей жены приготовить ему придворный костюм: короткие панталоны, шелковые чулки, башмаки с пряжками, стальную шпагу. Он выехал 19 мая, испытывая некоторое удовольствие оттого, что Адель заливалась слезами, прощаясь с ним. Предстояло провести без нее лишь несколько дней, но ему они казались чуть ли не вечностью: «Как все эти почести печальны! Многие завидуют, что я еду, но завистники не знают, как я несчастен из-за этого счастья...» Однако ж ему было двадцать три года, он любил славу и немало гордился, что попутчики в дилижансе смотрят на красную ленточку у него в петлице: «Скажи моему отцу, что дорогой меня спрашивали, *не еду ли я в свой полк* и т. д. Все это из-за ленточки!» В этой фразе чувствуется тайная любовь к воинской славе. Он просил Адель вскрывать письма, которые, возможно, будут приходить на его имя, и сообщать ему их содержание. О, простодушная доверчивость супругов, не имеющих тайн друг от друга!

На улице Вожирар он, разумеется, расположился в их общей спальне и от этого тяжелее почувствовал свое одиночество. Париж без Адели стал для него чужим: «Моя родина – это ты...» Завтрак у родителей жены – господин Фуше сам приготовил для зятя омара под соусом. Посещение портного – тот показал ему сшитый фрак, весьма безобразный и очень модный; визит к «бессмертному» Суме – академик с обычной своей ласковой добротой предложил ему для предстоящей церемонии свои короткие панталоны; затем, поскольку и сам Гюго, и Нодье сидели без денег, переговорил с книгоиздателем Лавока – тот жаждал получить будущую оду на коронацию Карла X, а посему дал аванс на поездку в Реймс. Обед у Жюли Дювидаль де Монферье, художницы и хорошенькой женщины; когда-то Виктор Гюго ее ненавидел, а теперь она была другом дома, и молодой супруг обожал ее: «Мы пили за твое здоровье, моя дорогая Адель. Как я тебя люблю!.. Я тысячу раз поцеловал твое письмо. Какое прекрасное письмо! Каким красноречивым сделали его скорбь и нежность...»

Путешествие в Реймс началось хорошо. Шарль Нодье и Виктор Гюго совместно с двумя приятелями наняли за сто франков в день нечто вроде большого фиакра, так как нечего было и мечтать о билетах на дилижанс. Дорогу, подчищенную скребками, посыпанную песком, как парковая аллея, запрудили экипажи; гостиницы и постоялые дворы были переполнены. Всюду, где делали остановку, Гюго бежал осматривать исторические памятники, а Нодье устремлялся к букинистам. В Реймсе пришлось ночевать вчетвером в одной комнате, но Шарль Нодье так интересно рассказывал там о готических соборах, он был превосходный попутчик и настоящий эрудит. Гюго любил готику, «поистине порождение природы. Беспредельное, как сама природа, в великом и в малом. Микроскопическое и гигантское...». Шатобриан посвятил его в тайны готики, Нодье, замечательный знаток старины, научил его населять памятники прошлого священными тенями их основателей и оживлять воспоминаниями о событиях, свидетелями которых были крепости, замки, монастыри. «В этой Шампани все дышит сказками...

Реймс – да ведь это царство химер...» Нодье рассказывал сказки и пробуждал химеры. На улицах Реймса теснились любопытные, желавшие посмотреть, как проедет Карл X; Гюго говорил Шарлю Нодье: «Пойдем лучше полюбуемся на его величество кафедральный собор». Нодье смеялся: «В вас вселился бес Стрельчатый». – «А в вас – бес Эльзевира», – ответил Гюго.

И Нодье и Гюго, оба в парадных фраках и со шпагой на боку, присутствовали на коронации среди сонма толстых мужчин и женщин, увешанных драгоценностями. «Вся церковь сверкала при свете майского дня. Блиставали золотые ризы архиепископа, на алтаре дробились солнечные лучи...» Во время церемонии некто Эмонен, представитель департамента Ду, подарил Шарлю Нодье книгу, которую держал в руках. «Только что купил ее за шесть су», – сказал он. То был томик разрозненного издания Шекспира на английском языке. Вечером Нодье переводил оттуда с листа драму «Король Иоанн». Для Гюго она была откровением. «Право, это великое произведение!» – воскликнул он. Ламенне еще в 1823 году советовал ему «пройти курс лечения Шекспиром», но Гюго не пожелал читать его в отвратительном переводе Летурнера. Затем Виктор Гюго, также с листа, перевел Шарлю Нодье испанское «Романсеро», купленное дорогой у какого-то букиниста. Та ночь в Реймсе, когда Виктор Гюго в номере гостиницы открыл Вильяма Шекспира, также была коронацией – венчанием на царство великого поэта.

Шатобриан тоже приехал в Реймс; Гюго поспешил засвидетельствовать ему свое почтение и застал его в ярости: «Я мыслил коронацию совсем иначе. Голые стены церкви, король на коне, две раскрытые книги: Хартия и Евангелие, – религия, сочетающаяся со свободой». По-видимому, у виконта де Шатобриана было больше чувства театральности, чем почтения перед ритуалом. Гюго пошел проводить великого человека, посадить его в экипаж и оказался единственным провожающим: у свергнутых министров не бывает свиты почитателей. Даже Виктору Гюго хотелось поскорее освободиться, чтобы ехать в Блуа. Его тревожили письма Адели. Она жаловалась на холодность, которую после отъезда Виктора выказывала ей генеральша: «С грустью узнала я некоторые вещи, доказывающие, что госпожа Гюго с трудом переносит наше присутствие и сетует на него... Непременно напиши, что из-за непредвиденных дел тебе необходимо вернуться в Париж...» Она умоляла Виктора поскорее приехать за ней: «Через два дня после этого мы бы отправились домой, я заказала бы места в почтовой карете, здесь мы придумали бы какой-нибудь предлог...» А Гюго надеялся погостить у отца полтора месяца. Следующее письмо было еще более настойчивым: положение стало невыносимым. Виктор Гюго, глубоко огорченный, советовал жене быть спокойнее: «Успокойся. Мы все уладим. Твой Виктор, твой муж, твой покровитель, скоро вернется, и чего же тебе тогда будет не доставать?...» Но Адель не могла выдержать и уехала одна с Дидиной и с няней в Париж, где ее встретила мать.

В оправдание своего поспешного отъезда она ссылалась на то, что Виктору нужно срочно написать «Оду на коронацию». Действительно, он сочинил эту оду еще «в тени собора». «Стихи на случай», помпезные, какими и полагалось им быть:

Сиянье алтаря, великолепе трона,  
Склоненные пред ним священные знамена  
С тугими складками серебряной парчи,  
На арках золотых гирлянды белых лилий —  
Все это бликами цветными озарили  
Узором витражей смягченные лучи...<sup>43</sup>

Почтительная и торжественная «Ода» понравилась в высоких сферах; Состен де Ларошфуко послал Виктору Гюго две тысячи франков в возмещение путевых издержек; Карл X дал

<sup>43</sup> Виктор Гюго. Коронация Карла X («Оды и баллады»). Перевод И. Шафаренко.

аудиенцию поэту, который лично преподнес ему свои стихи и был вознагражден «самым деликатным образом»: король дал его отцу чин генерал-лейтенанта. Он приказал также, чтобы «Ода» была отпечатана «со всей типографской роскошью на печатных станках Королевской типографии», и, кроме того, король сделал супругам Гюго хозяйственный подарок – столовый сервиз севрского фарфора с тонким узором в виде золотой сеточки. Подарок пышный и полезный.

Ламартин пригласил Гюго и Нодье навестить его в Сен-Пуане. «Мы поедем, – сказал Нодье, – да еще возьмем с собой жен, и все это ничего не будет нам стоить». – «Каким образом?» – «Мы доберемся до самых Альп; мы расскажем о нашем путешествии. И какой-нибудь издатель оплатит его». В самом деле, издатель Юрбен Канель заказал этим туристам «Поэтическое и живописное путешествие на Монблан и в долину Шамони». Нодье должен был представить прозаический текст и получить за него две тысячи двести пятьдесят франков, а Гюго – две тысячи двести пятьдесят франков «за четыре плохоньких оды, – писал он отцу. – Оплата недурная...».

Взяли в путешествие даже Дидину. Гюго в костюме из серого тика резво бегал по косогорам и походил на школьника, приехавшего на каникулы. Нодье был великолепный рассказчик; его невозмутимый вид и медлительная манера говорить были очень забавным контрастом с живостью его ума, – а ведь в этом как раз секрет юмора. Добродушная госпожа Нодье тоже была забавна, когда она с практическим и здравым смыслом француженки объявляла неправдоподобными фантастические рассказы своего мужа. Обстановка в Сен-Пуане оказалась не очень приятной. Дом «господина Альфонса» совсем не походил на его поэмы и разочаровал Гюго. Нет ни *зубчатых вершин*, ни *густой завесы плюща*, *колорит столетий* на стенах дома оказался желтоватой малярной покраской. «Руины хороши для описания, а не для жилья», – прозаически пояснил Ламартин. Женат он был на англичанке, она надевала к обеду нарядный туалет, что очень смущало путешественниц. «Она выходила к столу декольтированная и вся в бантах, – писала Адель Гюго. – Наши скромные шелковые платья с высоким воротом казались весьма неуместными при таком параде...» Гюго и Ламартин уважали друг друга, но сблизиться не могли.

Альпы, и особенно «царственно возвышавшийся Монблан, в ледяной тиаре и в снеговой мантии», взволновали Виктора Гюго. Все эти исполины, то сверкающие, то сумрачные, зеленые и белые, представляли собою зрелище, достойное его. При своих внутренних противоречиях (мать и отец, христианская религия и вольтерьянство, красота и жестокость мира, радость и кошмары, ангел и фавн), он испытывал потребность и во внешних контрастах, отвечающих его душевному складу. Он любил контраст между белизной сверкающего на солнце снега и черным провалом бездны. «Вот сейчас разорвалось облако над нами, и сквозь эту расселину мы увидели вместо неба – крестьянский домик, зеленый луг и несколько едва различимых коз, которые паслись на заоблачной высоте. Никогда я не видел таких необычайных картин. У наших ног бурлит поток, похожий на реку Ада; над нашими головами – уголок Рая...» Безотчетно обращаясь к мифологии, он превращал горы, скалы, потоки в чудовища, в духов и демонов: «Признаюсь, такой уж у меня уродливый склад ума: в грозной красоте диких мест для меня чего-то не хватало бы, если бы народные сказания не придавали им волшебного характера. Я охотно остановился на этих подробностях, потому что люблю суеверия; суеверие – детище религии и мать поэзии...»

По вечерам, собравшись на постоялом дворе, наши путники смеялись, вспоминая, каких опасностей избежали в дороге. Никогда Гюго не забывал это «радостное путешествие в Швейцарию... Это одно из светлых воспоминаний моей жизни».

## IV Мастерство

*Поразительная виртуозность Гюго не была помехой его гению.*  
**Жюль Ренар**

С 1826 по 1829 год Гюго много работал, многому научился, много создавал. Ошибочно было бы измерять его гигантские успехи датами опубликования его книг: «Оды и баллады» (конец 1826 г.), «Кромвель» (1827), «Восточные мотивы» (1829). Некоторые написанные им вещи он держал в ящике стола по два-три года. В «Восточных мотивах» содержатся стихи, созданные в 1826 году; очаровательная «Песенка шута» из драмы «Кромвель» напечатана была в виде эпиграфа еще в «Одах и балладах». Лучше будет проследить общую линию его поисков.

В эти годы поэзия становится для него искусной игрой, в которой он чувствовал себя мастером. Официозные «Оды» доставили ему то, что они могли дать: теперь у него появилась публика; книгоиздатель Лавока заплатил ему четыре тысячи франков за сборник «Разные стихи». Путешествия, беседы с Нодье, изучение поэтов XVI века вызвали у него интерес к немецким и шотландским балладам (так возникли баллады «Невеста литаврщика» и «Два лучника»), а с другой стороны, у него появилось стремление к чистой виртуозности. Он создавал фантастические баллады, или, как он называл их впоследствии, «романсы». Политический или религиозный смысл в том, что он писал тогда, значил для него довольно мало. Он уже был далек от мысли, которую высказал в 1824 году, утверждая, что вся поэзия должна быть монархической и христианской. Теперь его стихи только очаровательны.

Если ты в пути  
Ночью – не шути  
С судьбиной.  
Зренье напряги,  
Тропкой не беги  
Пустынной.

Хмурый океан  
Заволок в туман  
Долины,  
Чтоб светить не мог  
Даже огонек  
Единый...

Мрачен темный бор —  
Вдруг настигнет вор  
С дубиной?  
Слышен хор дриад,  
Что людей манят  
В трясины;

Здесь нашел конец  
Не один беглец  
Невинный...

Духи под луной  
Пляшут танец свой  
Старинный...<sup>44</sup>

Слова здесь поставлены лишь ради их музыкальности. То он развлекается («Охота бургграфа»), чередуя на восьми страницах восьмисложную строку стихотворения с односложной, которая звучит как эхо.

Старый бургграф с сенешалем у гроба  
Оба.  
Готфрид святой, ты для нас господин  
Один<sup>45</sup>.

То он пишет длиннейшую балладу трехсложным стихом («Турнир короля Иоанна»). Да можно ли считать это только виртуозностью? Это скорее уж акробатика, гимнастические трюки, поражающие непринужденностью, почти что сверхчеловеческой легкостью исполнения.

Молодому поэту Виктору Пави он дал тогда такой совет: «Быть очень требовательным в отношении богатства рифмы, единственной прелести нашего стиха, а главное, чтобы мысль всегда укладывалась в четкие рамки строфы...» Это требование, добавил Гюго, – результат изучения (плохого или хорошего) самого духа нашей лирической поэзии. Тут он близок к другим крупным поэтам Франции, которые столетием позднее учили, что присутствие образного слова уже является элементом красоты, что наш язык, лишенный разнообразия в ударениях, требует точных ритмов и правильных рифм и, наконец, что поэзия – это прежде всего музыка.

Эта поразительная эволюция в творчестве Гюго началась после торжественных «Од». Когда вышли в свет «Оды и баллады» (1826), Ламартин написал ему из Флоренции: «Хочу по-дружески еще раз дать вам суровый совет: не стремитесь к оригинальности! Подумайте хорошенько, прав я или нет: ведь это игра ума, а не то, что вам надо...» «Глобус» – умный и серьезный журнал – не очень благосклонно относился к Виктору Гюго. Этот либеральный орган печати, призывавший к международным культурным связям, раздражала, а иногда и возмущала «Французская Муза» и ее салонный католицизм. Однако редактора журнала, Поля-Франсуа Дюбуа, преподавателя литературы и журналиста, человека властного и даже гневливого, однажды затащили на улицу Вожирар к «ангелу Виктору», как говорила Софи Гэ, и Дюбуа потом признался, что его очаровала молодая чета Гюго: «В скромной квартирке над столярной мастерской я увидел в крошечной гостиной молодого поэта и молодую мать, баюкавшую свою малютку-дочь, учившую ее складывать молитвенно ручонки перед гравюрами рафаэлевских мадонн с младенцами Иисусами. Эта наивная, искренняя, хотя и немножко театральная сцена растрогала и восхитила меня...» Гюго, со своей стороны, заверил редактора «Глобуса» в своей симпатии к нему: «За те немногие часы, которые я провел подле вас, вы внушили мне чувство истинной дружбы...»

Когда «Оды и баллады» вышли в свет, Дюбуа, сохранивший нежные воспоминания о «святом семействе» с улицы Вожирар, передал книгу своему бывшему ученику в Бурбонском коллеже Шарлю-Огюстену Сент-Бёву, который вел отдел литературной критики в «Глобусе», и сказал ему: «Вот стихи молодого варвара Виктора Гюго, у которого есть талант... Я с ним знаком, и мы иногда встречаемся». Сент-Бёв написал большой и похвальный отзыв, но разумно предостерегал в нем автора от крайностей: «В поэзии, как, впрочем, и в другом, ничего нет

---

<sup>44</sup> Виктор Гюго. Песенка шута (драма «Кромвель»). Перевод И. Шафаренко.

<sup>45</sup> Виктор Гюго. Охота бургграфа («Оды и баллады»). Перевод М. Донского.

опаснее, как чрезмерная сила; если ее не укрощать, она может наделать много вреда; из-за нее то, что было оригинальным и новым, вполне способно сделаться странным; яркий контраст перерождается в жеманную антитезу; автор стремится к изяществу и простоте, а приходит к слащавости и упрощенности, он ищет героическое, а встречает гигантское; если же он когда-нибудь попытается изобразить гигантское, ему не избежать ребячливости...»

Критик был еще моложе поэта (младше его на два года), но он обладал широким образованием, чутьем к оттенкам и был одним из самых проницательных умов своего времени. Он отличался также врожденной тонкостью вкуса, верностью суждений. Остатки религиозности боролись в нем с реалистическим и скептическим духом, развившимся благодаря научным занятиям. Этот лирик и позитивист страстно мечтал о счастье, о любви и страдал, думая, что он не может внушить любовь. Внутренняя жизнь занимала его больше, чем живописность фразы. В своей статье он восхищался «пламенным стилем Гюго, его красочными образами, неожиданными их переходами, гармонией его стиха», но из всех «Од и баллад» больше всего хвалил он те немногие стихотворения, в которых Виктор Гюго, возвышаясь над виртуозностью, изливал чувства, поднимавшиеся из глубины его души. «Постарайтесь вообразить себе самые чистые часы любви, самую целомудренную нежность в браке, самое священное слияние душ перед взором Господа – словом, вообразите в мечтах наслаждения страсти, похищенной с небес, слетевшие к нам на крылах молитвы, и все ваши мечты осуществит да еще и превзойдет поэт Гюго в стихотворениях, которым он дал прелестные названия: „Еще раз о тебе“ и „Ее имя“. Цитировать их – это значит омрачить их целомудренную тонкость чувства». Действительно, это были душевные стихи, проникнутые нежной лиричностью.

Люблю и чту тебя как высшее создание,  
Как предков правнуки благоговейно чтут,  
Как любит брат сестру, что делит с ним страданья,  
А старики – внучат, которые к ним льнут.  
Я так люблю тебя, что слезы умиления  
Текут из глаз моих при имени твоём...<sup>46</sup>

Легко понять, как радовались молодые супруги, читая 2 января 1827 года эти похвалы стихам, дорогим для них, появившиеся в обычно суровом журнале. Их не огорчили некоторые оговорки критика – общий тон статьи был благожелательный и даже почтительный; Гёте, прочитав ее, не ошибся в своем суждении – 4 января он сказал Эккерману: «Виктор Гюго – истинный талант, на который оказала влияние немецкая литература. Его юность была, к несчастью, ущемлена в поэзии педантизмом лагеря классицистов, а теперь, извольте-ка, даже „Глобус“ за него, – стало быть, он победил». Гений распознал гения.

Статья в «Глобусе» была подписана инициалами: С. Б. Виктор Гюго написал редактору журнала, господину Дюбуа, два письма: в первом – спрашивал, кто такой этот С. Б., а во втором – благодарил его.

### ***Виктор Гюго – Полю-Франсуа Дюбуа, 4 января 1827 года***

Я так ценю ваши труды, господин Дюбуа, что не решился бы побеспокоить вас изъявлением своей признательности. Надеюсь, однако, что вы не откажете мне в разрешении зайти поблагодарить вас. И не будете ли вы так добры прислать мне адрес господина Сент-Бёва, которому мне также

---

<sup>46</sup> Виктор Гюго. Еще раз о тебе («Оды и баллады»). Перевод И. Шафаренко.

хотелось бы выразить, что я испытывал, читая его превосходную статью. Все, что говорится в ней, даже то, что могло бы противоречить моим взглядам или задеть мое самолюбие, сказано достойным тоном благожелательного и честного человека, это восхищает меня, и его замечания, очень ценные сами по себе, становятся для меня просто драгоценными.

Надеюсь, что еще до тех пор, когда мне удастся пойти к господину Сент-Бёву и сказать ему все это устно, вы, господин Дюбуа, будете любезны передать ему живейшую мою благодарность. Позвольте мне также сказать, что вы принадлежите к числу тех немногих людей, к которым меня с первой же встречи привлекает искренняя симпатия, и я горжусь ею...

Дюбуа ответил: «Он живет рядом с вами, на улице Вожирар, в доме № 94». Гюго пошел и позвонил к соседу; Сент-Бёва не оказалось дома, но на следующий день он сам пришел к супругам Гюго. Перед ними предстал длинноносый молодой человек, робкий и хрупкий, дурно сложенный и немножко косноязычный. Рыжие волосы, круглую, слишком большую для его тела голову нельзя было назвать красивыми. Однако он напрасно считал себя безобразным. В чертах его лица не было ничего неприятного, и он вполне мог нравиться. Надо сказать, что это лицо озарено было умом, и, как только Сент-Бёв чувствовал себя свободно, он становился бесподобным собеседником. Он не договаривал фраз, как будто «швырял их с отвращением, не желая докончить», но мысли он высказывал верные и глубокие.

По правде сказать, говорил-то главным образом Гюго. Сент-Бёв слушал, «покоренный сиянием гения», и украдкой посматривал на красавицу Адель, присутствовавшую при этом свидании.

В наряде утреннем, юна, свежа, мила,  
Она меня сперва в смущенье привела,  
Так строг был взгляд ее. Почтительно кивая,  
Я слушал, как лилась поэта речь живая.  
Но, на нее глаза переводя с него,  
Боюсь, что, слушая, не слышал ничего...

Он говорил. Жена ему внимала стоя...  
Я, наблюдая их, все недоумевал,  
Что с хрупким деревцом связало шумный вал...  
Но вскоре мысль ее, как видно, утомилась,  
И, находясь средь нас, она совсем забылась;  
Хоть руки делали привычные дела,  
Мечта ее от нас далеко увела,  
И, не засмейся он, она бы все мечтала  
И даже слов моих прощальных не слыхала<sup>47</sup>.

Сент-Бёв пришел еще раз. Все, что Гюго говорил о рифме, о колорите, о фантазии, о ритме, о своей поэтике, открывало перед восхищенным взглядом молодого критика новые, неизведанные края. Он тогда работал над обзором поэзии XVI века. То, что он услышал, проливалось яркий свет на понятия о стиле и о фактуре стиха. После второго посещения он передал Гюго стихи, которые сам писал украдкой. По сравнению с фейерверком поэзии Гюго они казались тусклыми. Однако у них были свои достоинства: естественность стиля, прелесть интимности, и Гюго сумел похвалить лучшее, что было в них: «Приходите поскорее, сударь, чтобы

---

<sup>47</sup> Сент-Бёв. Что я рассказывал Адели («Книга любви»). Перевод И. Шафаренко.

я мог поблагодарить вас за прекрасные стихи, которые вы мне доверили...» С этого дня, говорит Сент-Бёв, «я был завоеван тем отрядом романтиков, вождем которого был Гюго». Он пришел в качестве критика, а ушел учеником. «Гюго все читал и все запоминал. Он с некоторым хвастовством выставлял свои познания...» Но он так щедро и так искусно расточал похвалы, что целый отряд писателей признал его своим главой. «Литература, – говорилось на страницах „Глобуса“, – накануне 18 брюмера, но бог знает, кто в ней Бонапарт...» Бог это знал.

Виктор Гюго уже год работал над драмой «Кромвель». Его всегда влекло к театру, и он еще в детстве писал пьесы. Теперь он прочел все, что мог найти о жизни Кромвеля (около ста книг), и в августе 1826 года принялся за работу. Тейлор, друг Альфреда де Виньи, получивший дворянство по указу Карла X и пост королевского комиссара в театре Комеди Франсез, спросил, почему Гюго ничего не пишет для сцены, и тот сказал о своем «Кромвеле». Тейлор пригласил его на завтрак вместе с Тальмá, и поэт объяснил трагику, что он хочет создать драму, идя по стопам Шекспира, а не Расина, в языке же смешать все виды стиля – от героического до шутовского, уничтожить трескучие тирады и эффектные стихи. «Да-да! – согласился Тальма. – Не надо красивых стихов».

Но Тальма умер в том же году; драма получилась слишком длинной, поставить ее на сцене казалось невозможным. Виктор Гюго решил прочесть «Кромвеля» своим друзьям. Чтения вошли тогда в моду. Слушатели млели, как гости мольеровских «Жеманниц». Выслушав какую-нибудь оду, рассказывает госпожа Ансело, приглашенные в явном волнении подходили к поэту, «брали его за руку и поднимали глаза к небу». После многозначительной паузы слышалось: «Собор! Готика! Пирамида!» Засим следовало глубокое сосредоточенное раздумье. Прочитав отрывки из «Кромвеля» у госпожи Тастю, Гюго пригласил «господина Сент-Бёва» пожаловать 12 марта 1827 года к Фуше, на улицу Шерш-Миди, где он будет читать всю драму целиком. «Все будут счастливы видеть вас, а я – особенно. Вы принадлежите к числу тех людей, перед которыми я всегда готов читать, так как люблю слушать ваши замечания...»

Чтение прошло с успехом, как всякое авторское чтение, но на этот раз успех был вполне оправдан. Драматическая сила некоторых сцен, новизна лексики, шекспировская веселость четырех шутов делали «Кромвеля» произведением крупным и оригинальным, заслуживающим постановки в театре. «Из-за вашего „Кромвеля“, – сказал автору Альфред де Виньи, – покроются старческими морщинами все современные наши трагедии. Когда „Кромвель“ взбежится на театральные подмостки, он там произведет революцию, и вопрос будет решен». На следующий день, 13 марта, Сент-Бёв написал Гюго письмо, представляющее большой интерес. Он восхищался красотами этой «трагикомедии», и вместе с тем у него нашлись критические замечания.

Все эти замечания сводятся к одному, которое я уже позволил себе высказать в отношении вашего таланта: чрезмерность, злоупотребление силой и, простите меня, – *шаржирование*. Серьезная часть вашей драмы восхитительна; как бы вы ни увлекались, сколько бы ни буйствовали, вы никогда не выходите за пределы возвышенного. Сцены приема послов и две следующие за нею сцены во втором действии, монолог Кромвеля после встречи с сэром Робертом Уиллисом, а в третьем действии – сцены Тайного совета, Мильтон у ног Кромвеля, – все это хорошо, даже прекрасно, при каждом стихе хочется вскрикнуть от восторга, упреки мои относятся главным образом к комической части. Намерение перемешать, переплести комическое с основным развитием действия, которое в целом посвящено ужасным событиям, является для вас источником красот, из которого вы широко, слишком широко черпали. Чем больший эффект производит контраст, тем сдержаннее следовало быть, мне кажется, вы превысили меру, особенно в слишком частых и длинных репликах «в сторону», которые, думается, больше

следовало бы угадывать: пародию не надо подчеркивать, ее должны понимать с полуслова... Словом, я сетую только на злоупотребления, на *мелочи*, и, право, вчера были минуты, когда я очень досадовал на них; однако не думайте, что мне *наскучили* они, у вас ничего скучного не бывает; но они раздражали меня, выводили из терпения; меня так и подмывало крикнуть, как Кромвель кричал своим шутам, когда приходил в дурное расположение духа: «Тише! Довольно! Прочь отсюда!» Простите, дорогой мой, что я позволил себе без всякого стеснения высказать свои мысли о вас, но чем меньше тут будет церемоний, тем скорее, надеюсь, вы извините меня... Большая наглость с моей стороны нападать на вас с критическими замечаниями, когда меня просто подавляют красоты вашей драмы, это у меня жалкая попытка отомстить вам. А все-таки скажу еще два слова о вашем стиле. Он очень хорош, особенно в серьезной части драмы. А в остальном он не всегда свободен от чересчур многочисленных, иной раз странных образов... Вы поставили перед собою двойную цель: с одной стороны, сравняться с Корнелем, а с другой – с Мольером. С Корнелем вы сравнялись, а с Мольером – нет, вы ближе к Реньяру и особенно – к Бомарше: в вашей пьесе много от «Женитьбы Фигаро»...

Тут полностью выявилась противоположность двух темпераментов. Могучая натура Гюго не могла и не должна была отказываться от вершин; Сент-Бёв, тонкий и хрупкий, мог дышать только на «умеренных высотах». Он понял романтизм, он понимал все на свете, но не мог отделаться от мысли, что у романтиков возвышенную пьесу всегда сопровождает «пародийный водевиль». Сам он ясно видел и строго судил свои собственные безумные выдумки. «Я классик, – признался он однажды, – в том смысле классик, что стоит мне обнаружить в литературном произведении большую долю безрассудства, безумства, нелепости или дурного вкуса, как оно погибнет для меня и я отшвырну книгу». Гюго, прирожденный поэт, чувствовал ценность рифмы, вдохновляющей мысль, как Микеланджело чувствовал ту скульптуру, которую подсказывала ему глыба мрамора; прозаик Сент-Бёв верил в необходимость логической связи между мыслями. Но его стихи никогда не достигали того уровня вдохновенного безумства, которое зовется поэзией. Гюго, натура более широкая, умел применяться к требованиям, предъявляемым прозой. Прекрасное этому доказательство – предисловие к «Кромвелю».

Написанное после драмы, оно было принято, особенно молодежью, с неслыханным восторгом. Для Гюго оно представляло собою и сделанный наконец выбор позиции, и вступление в бой. Преследуемый злобными и глупыми нападками классицистов, он встал во главе бунтарей. Теперь он уже не говорил, как в 1824 году: «Романтизм, классицизм – не все ли равно, что значат эти слова?» Он создал свой романтизм и дал ему обоснование. Нужно, говорил он, вернуть молодость языку, возродить «широкую и смелую манеру старых писателей», отбросить Делиля и возвратиться к Метьюрену Ренье. Драма должна быть борьбой между двумя противоположными началами, потому что этот контраст – самая суть действительности. Прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, гротескное и возвышенное должны сталкиваться и сливаться, чтобы создавалось сильное впечатление. Мрак и Свет. Ад и Рай. Гюго был в плену манихейского дуализма. Но заблуждение сродни тому, какое бывает у народов в пору их младенчества, – стремление воплощать возвышенное и гротескное в противоположных ипостасях; он все видит только в черном и белом цвете. Поэтому он и рисует чудовищ. Некоторой наивностью, похожей на ту, которая характерна для романа «Ган Исландец», страдает и «Кромвель», но драма поражает широтой и силой стиха.

А в те годы на силу был большой спрос. Разве молодых людей, выросших под бой барабанов наполеоновской Империи, могли удовлетворять благонамеренные оды и неоклассические трагедии? Один молодой полковник говорил Стендалю: «После похода в Россию мне кажется, что „Ифигения в Авлиде“ не такая уж замечательная трагедия». Публика теперь принадлежала

не к хорошему обществу, а к новому классу, уже не пугавшемуся насилия «и все более жаждавшему сильных ощущений. В 1816 году кое-кто еще мог верить, что Людовик XVIII – это свобода; в 1827 году никак нельзя было думать, что Карл X – это дух столетия. Виктор Гюго начал понимать, что под влиянием матери и семейства Фуше его политические взгляды зашли в тупик, а в вопросах религии богословские догмы не удовлетворяли его воображение. Сент-Бёв, новые друзья из журнала «Глобус» проповедовали ему антидинастический либерализм; генерал Гюго, открыв ему другой лик Истории, обратил его в бонапартиста. Да и как бы он, восторгавшийся исполинами, не почувствовал поэзии той жизни, которую прожил Наполеон?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.